Там родилась, гарцовала

Козацькая воля,

Там шляхтою, татарами

Засівала поле,

Засівала трупом поле,

Поки не остило

Лягла спочить а тим часом

Виросла могила.

Т. Шевченко

.....Cher amant,

J'ai vecu pour t'aimer, et je meurs en t'fiman.

.....

Je les ai tous perdus... je n'ai plus qu'a mourir.

Gilbert

(Дорогой возлюбленный,

Я жила, чтобы тебя любить, и я умираю, тебя любя,

.....

Я всех их потерял . мне осталось только умереть

Жильбер (Франц))

I

Когда уехал кошевой и старшины, Алексей с Мариною, упав на колени, помолились богу, обнялись и поехали на зимовник старого Касьяна И вот они одни в чистой степи; Сечь уже скрылась из виду; кругом зеленая пустыня — только земля да небо; по земле серебристою волною, словно море, лоснится ковыль, когда ветер слегка его заволнует; на небе горит одинокое солнце. Тихо, пусто... но нашим путешественникам степь не казалась пустынею: их души были полны внутреннею жизнью, сердца близко бились друг подле друга; им улыбался божий мир, и они улыбались, глядя на него, и, останавливая друг на друге взоры, пожимали руки, как бы стараясь увериться, не сон ли это? Счастье было слишком велико, слишком неожиданно..

На далеком горизонте показалась черная точка; она, казалось, не росла, не умалялась, не двигалась в стороны.

— Уж не ворог (враг) ли это? — сказал Алексей. — Только быть не может.

— Куст или камень, — отвечала Марина.

— Сколько я помню, здесь неоткуда взяться ни кусту, ни камню. Впрочем, посмотрим, — прибавил Алексей, остановил коня, поднес к глазам нагайку и, прищуря левый глаз, долго смотрел вдаль правым через нагайку.

— А что? — спросила Марина, когда Алексей, опуская нагайку, сомнительно пожал плечами.

— Не приберу толку что, а что-то живое; как ни прицелюсь верно нагайкою — сходит немного в стороны с нагайки. Отчего ж оно не едет к нам, не уходит от нас?

— Может быть, орел теребит зайца.

— Похоже на это; приедем ближе, увидим. Чем более подъезжали они к незнакомому предмету, тем более точка увеличивалась, яснее обозначались формы предмета, и скоро легко можно было различить стоящую лошадь и возле нее в тыл человека, припавшего над чем-то на колени. Человек был в одних шароварах и рубахе; куртка и черкеска лежали в стороне, брошенные на траву, засучив рукава по локоть, казалось, он что-то связывал или развязывал и так был занят, что не слышал, когда его лошадь, завидя сторонних, чутко выпрямила уши, вытянула шею и заржала вполголоса; он тогда только обернул свою голову, когда Алексей был от него в двух шагах.

— Никита! — закричал Алексей.

— Да, Никита! Хорошо тебе говорить! Посмотри, вот твоя работа. — При этом он встал, держа в руках окровавленный нож, и показал им на лежавшую мертвую женщину.

— Бедная Татьяна! Неужели ты ее зарезал, Никита?

— По речам видно гетманца! Прямой запорожец не скажет этого. Никита турка режет, татарина режет, жида режет и всякую нехристь, а баб не станет резать; ты убил ее своими

быстрыми очами, да черными бровями, да сладкою речью!.. Дура была покойница — и все тут... А подумаешь — и я дурак.

— Бог с тобою!..

— Бог со мною, всегда со мною, оттого, что я христианский лыцарь, а все-таки моя правда: глупо я сделал, что поехал к Варке в шинок; думал-то разумно, а вышло глупо — думал тебя спасти, Алексей, а погубил добрую бабу!.. Я, видишь, как услышал от панотца (священника), что есть способ тебя вызволить от смерти, и поехал нарочно к Варке в шинок, отвел в сторону Татьяну и рассказал ей, в какой ты оказии находишься; гляжу, она побледнела, бедная, как полотно: верно, душою почуяла близкий конец. Я вижу, что разжалобил Татьяну, и стал просить ее: спаси, дескать, войскового писаря, коли меня любишь; через тебя, говорю, пропал старый писарь — пусть же через тебя молодой поживет на свете Как кинется она мне на шею, как стала целовать меня, и говорит: я тебя теперь так люблю, Никита, как никогда не любила; ты мой и такой и этакой; я пойду на Сечь, вырву Алексея из рук смерти, ей-богу, вырву! И опять кинулась целовать, мне даже стало как-то немного неспокойно, что девка так меня любит, а будет твоей женой.. Я кутил всю ночь, прикинулся пьяным, оставил в шинке все крымское золото, а споил с ног и своего товарища Бурульку, и Варку, и ее племянниц, и после полуночи поехал домой; я подождал немного в долине, недалеко от балки (оврага), Татьяны; она скоро приехала ко мне на Бурулькиной лошади и в его кобеняке; мы поскакали и к утру были на площади у подмостков, где гулял неверный татарин, нахваляясь на твою крещеную голову. Что было после, ты сам знаешь. Эх, бедняжка! Вишь, как ее вытянуло! Жаль!.. Веселая была Татьяна!

— Зачем же теперь ты здесь? Что ты делал с нею?

— А что ж? Разве грех помочь христианской душе? Покойница хоть была баба, да все-таки христианка. Видит бог, как жалко мне стало, когда погнали ее хлопцы вон из Сечи, хоть я и смеялся над нею с другими и тюкал из политики, как на бешеную собаку. Хорошо еще, что на Сечи было много знакомых покойнице между молодыми казаками, те ее кое-как защитили: окружат, будто толкают, а сами все дальше да дальше выводят из Сечи, а то старики уколотили бы ее в смерть Сначала бедная Татьяна шла пошатываясь, спотыкалась немного, отдувалась на стороны, ворочая головою, будто человек, только что вынырнувший из воды, а потом ничего, обошлась, попривыкла; кого и сама толкает, кого ругает, кому язык покажет, так что всех развеселила. Вывели мы ее за ворота Сечи и сказали. "Убирайся теперь на все четыре стороны, теперь твоя воля".

— Вот вам за труды, — сказала Татьяна и плюнула нам почти в глаза и побежала в степь.

Из политики нельзя никому было провожать ее, да притом все торопились на площадь узнать, что там делается. А когда я увидел, что дело пошло хорошо и тебя повели венчать с Мариною, то и подумал: теперь Чайковскому и черт не брат, разве одна с ним беда будет — что баба повиснет на шее, а теперь, пока народ шумит и толпится возле церкви, меня никто не заметит, поеду, проведаю Татьяну, сел на коня, махнул по свежему следу, как собака за зайцем — и нашел ее здесь.

— Мертвую?

— Как бы не мертвую! Живехонькую! Лучше бы мертвую застал, а то сидит на траве, задумалась и смотрит на медный дукат, что висел у ней на шее вместе с крестиком.

— Здравствуй, Татьяна! — сказал я. — Ждала меня?

— Здравствуй, Никита, — отвечала она, — и не думала ждать!

— Вот тебе и раз! Зачем ты сидишь тут, дурная баба?

— Бежала, Никита, — говорит она, — устала, очень устала, ноги подкосились, села отдохнуть А ты зачем тут ездишь, дурной казак?

— Вольному казаку никто не запретит ездить, где ему хочется. Я приехал тебя проведать, моя уточка, да привез тебе хорошую весточку: наш Алексей жив, здоров и тебе кланяется.

— Неужели? — закричала она — Вы отняли его у кошевого?.. Ай да молодцы запорожцы! Расскажи же поскорее, как это было

И где взялась сила у покойницы! Прежде ни жива ни мертва сидела, а то бойко вскочила на ноги, схватила за повода коня и кричит: "Рассказывай!" Я рассказывал ей все как было; оставил, говорю, их в церкви... Гляжу: выпустила Татьяна из рук повода, побледнела, опустила руки, вытянулась и смотрит на меня страшно, будто съесть хочет, а сама смеется...

— Что с тобой? — спросил я

— А! Старый дурень, — сказала она, — ты мне такие вести носишь?. Мой милый, мой Алексей венчается с другою а ты зачем здесь? Слушай песню:

Ты думаешь, дурню,

Что я тебя люблю,

А я тебя, дурню,

Словами голублю!

Понимаешь, Никита?.. Я думала, он умер Жаль было, душа, болела, только и радовалась, что ни ей, ни мне не достался! А теперь.. у!.. свадьба!.. свечи, гроб!.. Слышишь!.. поют!..

Жук гуде,

Свадьба буде...

Слышишь? Пойдем!

Тут она залилась слезами, а я догадался, что кругом •дурак, что она тебя, Алексей, любила, а меня голубила словами, и, право, горько стало, не от того, прах ее возьми, чтоб я любил ее, как там паны любятся в Польше, а с досады, что баба, да еще молодая, проводила меня. Лях не проводил, татарин не проводил, а провела баба!.. Приснится, так перекрестишься!.. Немного поплакав, Татьяна заговорила со мною, да я ничего уже не понял, то кланялась тебе, то целовала крестик и медный дукат на шее, но, глядя на дукат, вспоминала свою матушку, просила у нее благословения, потом за пела свадебную песню . затянула высоко-высоко, я уж было и заслушался, вдруг остановилась, будто кто ей рот зажал рукою, и повалилась на землю, я к ней — не дышит, глаза открыты и не двигаются Что будешь делать?.. Вспомнил я, что в прошлом году в походе почти такая притча случилась с моим гнедком, совсем издыхал конь и ноги откидал; присоветовали люди пустить степную кровь — он и ожил. Не было со мною ланцета, я взял нож и кинул Татьяне степную кровь, как пошла

кровь порядочно, гляжу, вздохнула Татьяна, повела глазами, посмотрела на меня и шепчет: "Про щай, Никита, кланяйся Алексею.. Да сними с моеи шеи и отдай ему этот медный дукат, в нем, говорят, много силы, он..." — да и не договорила... Богу душу отдала. Я уже и тру ее суконкою и водки лью в рот, ничто не помогает, холодна, как лед QOT что!

— Бедная Татьяна! — сказал Алексей. — Царство ей небесное, добрая была душа! Что же ты, Никита, станешь делать?

— Вырою саблею яму, прочитаю молитву да и похороню небогу (сердечную).

— И я помогу тебе

— А куда вы едете? — спросил Никита.

— На зимовник Касьяна

— Вот же что я тебе скажу: поезжай ты с женою своею дорогою, дорога тебе еще далекая: дай бог засветло добраться, не заморивши коней; а как со мною еще простоишь час другой, то придется заночевать в поле; казаку-то в поле ночевать — здоровья набираться, да ты не один, с тобою такая птица, что подчас и росы боится. Поезжай, брате Алексею, пусть я один похороню Татьяну, у тебе есть теперь о чем заботиться. Прощай, Алексею! Да возьми дукат, что тебе отказала Татьяна.

— Бог с ним! Что она мне была? Ровно ничего. Зачем же я возьму дукат?

— Отдай его мне, Никита, — сказала Марина, — она мне родная, она любила моего Алексея, я буду носить ее подарок. Ты мне отдаешь его, Алексей?

— Бери, коли тебе хочется, мое золото, — говорил Алексей, надевая на шею Марины снурок с медною татарскою или турецкою монетою и глядя ей в очи, полные слез.

— Вишь, какие горлицы! — почти закричал Никита— Не пристало вам быть подле мертвого, убирайтесь отсюда! Прощайте!Да хранит вас бог и покроет от напастей святая наша Покрова!

Алексей и Марина простились с Никитой и быстро поскакали по степи, будто убегая от страшного зрелища смерти. Никита вынул из ножен саблю, перекрестился и начал рыть могилу, напевая вполголоса:

Ветер веет, трава шумит,

В степи лежит казак убит,

Не для него ветер веет,

Не длянего солнце греет,

На голову, покрытую

Зеленою ракитою,

Уж сел ворон, шумно крячет,

А верный конь у ног плачет

"Не кушанье, не мед готовь

Мне, матушка, а домик нов,

В нем три доски сосновые,

Четвертая кленовая!.."

II

Ой, гоп по вечері

Замикайте, діти, двері,

А ти, стара, не журись,

Та до мене прихились.

Т. Шевченко

А девушке в семнадцать лет

Какая шапка не пристанет!

А Пушкин

И теперь, проезжая херсонские степи, вы часто можете видеть подобие запорожских зимовников, или хуторов, на которых жили женатые запорожцы. Та же ограда из камня, довольно неровная, потому что круглые валуны булыжника всегда неохотно ложатся друг подле друга и оставляют между собой отверстия, которые теперь иногда замазывают поселяне глиною: в старину они служили вместо амбразур; из них житель

зимовника часто высматривал на степи друга и недруга и, в случае надобности, посылал недругу меткую пулю; и теперь подобная огорожа часто украшается сверху густым венком из сухих ветвей колючего степного терновника, что в старину было непременным условием, и теперь многие избы сложены из камней, покрыты соломою или грубыми стволами степного бурьяна. Словом, кто видел полудикий херсонский хуторок, тот может иметь понятие о наружности зимовников запорожцев; только те часто бывали обширнее и в своей каменной ограде заключали или могли заключать все хозяйство, даже скирды хлеба и стада.

Уж был вечер, когда Чайковский с своею женою приехали на зимовник Касьяна и остановились у ворот. Казалось, нет в нем ни одной живой души. Словно крутая батарея стоял зимовник, обведенный высокою каменною стеною, часто утыканною сверху терновником; только собаки, почуя чужих, заливались за оградой.

—Отвори, дядюшка Касьян! — закричала Марина.

— Молчи, — сказал Алексей, — кто так говорит, да еще ночью, с запорожцем! Беду накличешь, слышь?

Точно, кто-то подошел изнутри к ограде; стая воробьев, дремавших на терновнике, вспорхнула; тихо щелкнул ружейный курок...

— Пугу, пугу! — закричал Алексей, приложив воронкою ко рту кулак.

— Пугу? — вопросительно пропел таинственный, невидимый голос за оградою.

— Казак с Лугу, — отвечал Алексей.

— И давно бы так! — сказал голос. — Хлопцы, отворяйте ворота, а коней повешайте там, где и наши (привяжите к яслям). Милости просим до хаты.

— Ваши головы, пане отамане и товариство, — говорил Алексей, входя с Мариною в хату.

— И мы ваши головы, ваши головы!.. Прошу сидаты, — отвечал хозяин. — Откуда бог несет? Хлопцы, дайте меду!. С дороги не худо выпить .

— А ты и не узнал меня, дядюшка Касьян? — сказала хозяину Марина.

— Так и есть! Он! Пари держу, что ты кричал у ворот, как баба. От тебя только и может это статься.

— Отгадал, дядюшка.

— Благодари бога, что с тобой разумный товарищ и знает все наши поведенции, а то недалеко было бы тебе попробовать пули.

— За что?

— Еще и за что? Пожил на Сечи хоть немного, а ума ни крошки не набрался! Всякого народу бродит по степи: коли кто не откликнется по-нашему, так и не наш, а коли ночью ходит, так и неприятель, бей его, пока он тебя не убил. Благодари своего товарища...

— Он мне не товарищ, а муж, дядюшка Касьян.

Старый Касьян молча уставил глаза на Марину, как бы не понимая, что должно ему делать, смеяться или сердиться за такую нелепую шутку, и пришел в ужас, когда Чайковский растолковал ему, в чем дело.

— Ах ты окаянная! — сурово говорил Касьян — Так ты провела мою седую чуприну (чуб), как теленка?.. Счастье ваше, что вы у меня в хате и отдали мне свои головы, а то я ведь сердит, очень сердит. Верно, все вы созданы для обмана... Как умерла покойница жена, вот и подумал: все кончено, отдыхай, Касьян, на старости: уж никто тебя больше не станет обманывать — а тут нашлась другая . И не знал и не ведал, привязалась бог весть откуда на дороге и в круглые дураки записала. Срам подумать... Господи многомилостивый, — продолжал грустно Касьян, набожно смотря на образа, — прости мне, старому дурню, мое согрешение... За два дуката провел было я в родную Сечь страшного неприятеля, хуже ляха и татарина, злее турецкой чумы и крымской лихорадки... провел было окаянную бабу! Не знал я, господи, что оно такое, ей-богу, не знал... вот тебе крест!.. — Касьян перекрестился.

После молитвы Касьян успокоился. Марина начала у него просить прощения.

— Бог с тобою, я на тебя не сержусь; на себя сержусь я, что оплошал... Ну, да было, что было, верно, так богу угодно, прошло — и я забуду... Теперь мое дело уважать тебя: ты еси жена славного запорожца Чайковского; наш кошевой вас поважает и не забыл меня, старика: отправил ко мне в гости; спасибо ему, живите у меня, пока не соскучитесь. Вот вам мое слово.

Алексей и Марина бросились обнимать Касьяна.

— Полно, полно, дети! Вы задушите старика, — говорил Касьян, отирая слезы, — вы добрый народ, бог вас возьми!.. Были и у меня дети, была жена.. Нет детей, нет сыновей: один утонул под Азовом, другого сожгли ляхи, а третьего конь убил, свой конь... добрый был конь, а убил сына!.. Ни за что ни про что пропал человек!.. Вот пятый год жена умерла... и я один доживаю век с хлопцами... Спасибо вам, что приехали.

— Да ты, кажется, Касьян, не любил жены? — спросила Марина.

— Кто тебе сказал? Может, не любил, а может, и любил. Не все правда, что говорится, не все золото, что блестит... Не любил! А какой же нечистый заставил бы меня жениться?.. Я не пан какой, меня никто не присилует против воли!.. А, много говорить, да нечего слушать, — сказал весело Касьян, махнув рукою, — вы, я чай, голодны с дороги. Гей! Кухарь, изготовь нам вечерю; у меня гости, я помолодел двадцатью годами, ей-богу!.. Вари до молока тетерю да мамалыгу до масла, а хлопцы пускай заварят знаменитую варенуху! Извините, паны; вы, гетманцы, привыкли к вареникам, галушкам, панпушкам, буханцам и всяким лакомствам, а наши степные запорожские кушанья просты.

— Мы и сами, батьку, запорожцы, — сказал Чайковский.

— Добре, добре! Вот спасибо за правду. Зови меня, сынку, батьком; давно я не слышал этого имени... ей-богу, давно, мои дети!

Теперь многие, даже из моих земляков, очень хорошо знают и страсбургский пирог, и лимбургский сыр, и

пьемонтские трюфели, и много других тому подобных вещей, правда, очень приятных — и, пари держу, станут в тупик при словах "тетеря", "мамалыга", "варенуха". Это старина! — скажут мне в ответ. Согласен; но мы знаем малейшие привычки древних греков и римлян, знаем, что последние любили жарить ветчину с медом и финиками, или что, пресытясь вкусным столом, они, pour la bonne bouche, кушали иногда живых рыбок. Зачем же презирать родную старину? Впрочем, я не обременю вас подробностями и скажу в коротких словах, что "тетеря" была род жидкой каши из ржаной муки, на воде, молоке или на чем кто любил, "мамалыга" — род пудинга из маисовой муки: ее едят, пока горяча, с свежим коровьим маслом и разрезывают ниткою; а "варенуха" — вареное вино с сухими плодами и пряными кореньями, нечто вроде глинтвейна.

За ужином старик Касьян развеселился и обещал, если чрез неделю не будет никаких вестей из Сечи, сам съездить в Лубны к полковнику Ивану и во что бы ни стало добиться от него ответа.

— А теперь выпьем еще по чарке варенухи, — продолжал Касьян, — да с дороги, может, кому и спать пора. — При этом он мигнул на Марину седым усом, прищуря левый глаз Марина покраснела.

— Вам никто не помешает спать, — говорил Касьян, — я вам отведу светелку моей покойницы; теперь хоть и с богом, почивайте, дети, на здоровье. Да нет, погодите.

Касьян вышел и скоро возвратился, держа в руках железный ключ, и, отдавая его Марине, сказал — Вот это ключ от скрыни (сундука), которая стоит в вашей светелке: отопри ее и принаряжайся как знаешь: там лежат наряды моей покойной жены, у нее были добрые наряды, и парчи много, и всякой всячины — не стыдно надеть полковничьей дочери.

— Не нужно, батьку; к чему ей? — говорил Алексей.

— Я и так привыкла, мне и так хорошо, — сказала

Марина.

— Молчите, дети! — вскрикнул Касьян. —В чужой монастырь со своим уставом не ходят; за мою хлеб-соль да еще станете спорить со мною!.. Разве мне будет весело смотреть, что у меня в гостях жена войскового нашего писаря ходит не в своей шкуре, переряженная, словно пьяный гость на свадьбе? Разве пристало христианке ходить в человеческом (мужском) платье, как поганой татарке, когда бог дал ей особое платье, законное платье? Нет, дочко, распоряжайся всем, что найдешь в сундуке; оно твое; на что оно мне? Не сдурею под старость, не стану носить ваших юбок! Все равно пропадет, моль съест... И не думайте мне перечить: завтра чтоб я не видел на твоей жене, Алексей, казацкого убранства; не то с зимовника сгоню! Ну, прощай! До завтра!

Наутро Марина чудно была хороша в новом наряде: плахта и запаска ярких цветов, перехваченные по талье красным шелковым поясом, прелестно обозначали ее стройный стан; под тонкою белою, вышитою шелком рубашкою вольно дрожала, волновалась крутая грудь; на голове был надет черный бархатный кораблик (род шапочки). На плечи накинула Марина легкий кунтуш из зеленого атласа, обшитый золотым позументом, посмотрелась в металлическое зеркальце, прибитое снутри на крышке сундука, и покраснела от удовольствия.

— Какая пышная пани! — сказал Алексей, крепко обнимая и целуя свою жену.

— Ей-богу, так! Вот так! — говорил Касьян, входя в светлицу. — Господи, какая красавица! И казачком ты была прехорошенькая, а казачкою вдвое похорошела!..

III

Не спи, казак, во тьме ночной:

Чеченец ходит за рекой!..

А. Пушкин

Ждали неделю — нет вестей; прождали еще два дня, и Касьян поехал в Лубны; выбрал доброго коня и легкое вооружение, то есть саблю да пару пистолетов, в гаман (кисет) насыпал мелкоизрезанных корешков роменского тютюну (табака), положил кусок стали, новый кремень и сухого трута, привязал за седлом небольшой мешочек поджареного в масле пшена и поехал. Сборы запорожца недолги.

Теперь вы спокойно едете запорожскими степями по гладким широким дорогам, которые, в сухую погоду, лучше и покойнее всех шоссе в мире; вас беспокоят разве суслики, шныряющие беспрестанно поперек дороги, или великаны овода, которые, наскучив сновать на жару над лошадьми, залетают под тень коляски и, монотонно жужжа, садятся вам на нос. А в прежние времена не то было: эти степи, никому не принадлежавшие, служили ареною беспрестанным боевым схваткам; тут наездничали, молодечествовали полудикие народы; в каждом овраге надобно было опасаться засады, в каждом кусте ракиты можно было подозревать скрытого врага, который, как змея ползая между травою, смотрит на вас зоркими очами и в тишине натягивает меткий лук или ведет за

вами верное дуло винтовки, выжидая удобной минуты спустить курок.

Первый день Касьян ехал довольно весело, беззаботно, напевал под нос песенки, разговаривал с конем, иногда срывал молодые побеги катрану (дикого хрена), очень спокойно опускал поводья, аккуратно сдирал кожу с побега и ел, приговаривая: "Хороший катран; не дураки лошади, что так его любят..." К ночи Касьян, как опытный казак, принял свои меры: въехал в глубокую долину, ослабил немного подпруги и пустил коня пастись, но привязал наперед конец длинного ременного повода (чумбура) к своей руке, раскинул на траве бурку из овечьей шерсти, из предосторожности, чтоб не подползла какая гадина, особливо тарантул, который по инстинкту боится овечьей шерсти, даже овечьего запаха, будто зная, что овцы очень любят кушать его собратий, и тихо вздремнул, даже не куря трубки, чтоб дымом не накликать беды на свою голову. Перед светом Касьян был уже на коне; но на этот раз что-то его беспокоило: часто он озирался, часто всматривался вдаль, часто, остановясь против ветра, расширял ноздри, нюхал воздух и пристально посматривал на росистую траву: видно было, что его душа чуяла недоброе. А кругом все было чисто, тихо; весело всходило солнышко; добрый конь схватывал мимоходом цветистые верхушки трав и прыскал, когда роса попадала ему в ноздри.

Касьян увидел в стороне измятую траву, слез с лошади, долго рассматривал траву, ворча "Так и есть, я так и думал", потом припал ухом к земле, послушал немного, сел на лошадь и, повороти ее круто налево, помчался, как стрела. Проскакав несколько верст, Касьян опять поехал по первому направлению довольно спокойно и около полудня только своротил направо и снова начал беспокойно оглядываться по сторонам. Уже вечерело, до Днепра оставалось недалеко, доброй езды до ночи — не больше, когда Касьян, ехавший крупною рысью,

вдруг остановился, будто окаменел на месте, прилег на шею коня и внимательно смотрел на далекий, чуть видимый вдали курган. "Они! — сказал Касьян, слезая с коня и ведя его в поводу — Они, проклятые крымцы! Наши никогда по три человека не взъезжают на курган, у нас один видит за троих, да теперь и гетманцам заказано кучкою въезжать для надзора Как бы поспеть вовремя!" Спустясь в длинный, глубокий овраг, может быть, бывший когда-нибудь руслом речки, впадавшей в Днепр, Касьян поехал вдоль оврага ровным шагом, но, сделав несколько верст, из предосторожности слез с коня, вышел, пригнувшись, из оврага, и, увидя невдалеке курган, пополз к нему, чтоб с высоты высмотреть неприятеля. Курган был покрыт густою, высокою травою, на вершине его стояли несколько низеньких кустов ракиты. Как пресмыкающее, полз между травою Касьян, бережно разводил в стороны руки, хватался ими за траву или упирался в землю и, тихо шевеля всем телом, будто раскачивая лодку, подымался выше. Наконец, он всполз на самый верх кургана, оставалось только раздвинуть куст и осмотреть окрестность, уже Касьян поднял руки — и остановился, затаил дыхание: за кустом послышался шорох, зашевелилась трава и, волнисто вытягиваясь, выползла из под ракиты страшная змея; увидя человека, она быстро подала назад свою голову, завилась в несколько колец, сердито сверкнула глазами и, раскрыв страшную пасть, протяжно зашипела; но, вероятно, боясь поднятых рук Касьяна, сильно отпрянула в сторону и заскользила, извиваясь, вниз по кургану. Когда скрылась незваная гостья, Касьян протянул к раките руки, но едва коснулся ветвей, они, будто по волшебному мановению, сами раздвинулись, и между ними явилась голова татарина, ее узкие глаза на расстоянии нескольких вершков прямо уставились против глаз Касьяна Татарин, в свою очередь, видно, заметивший издали конного Касьяна, опасался засады и тоже полз на курган высматривать неприятеля.

Несколько мгновений враги были неподвижны, как бы обдумывая, что начать им, потом страшно обменялись взорами, проникнутыми глубокой ненавистью, лица их судорожно искривились, и вдруг, будто по команде, разом и Касьян и татарин схватили друг друга за горло, молча, не приподымаясь от земли, из опасения открыться врагам, сжали они друг друга жилистыми руками, но татарин был если не слабее, то легче Касьяна, оттого последний, осунувшись вниз, увлек за собой татарина, и они клубком скатились с кургана. Жестока была борьба их, без звука, без стона, они жали друг друга объятиями смерти, грызлись зубами, как свирепые звери, заходящее солнце по временам освещало то гладко выбритую голову татарина, то чубатую запорожца: они попеременно подымались кверху, каждый раз страшнее, ужаснее, облитые кровью, обрызганные пеною. Наконец, Касьяну удалось достать из-за сапога широкий нож: это положило конец борьбе.

"Сейчас смеркнется, — думал Касьян, отходя от зарезанного татарина и спускаясь в овраг, — враги конные раньше меня будут у Днепра, хоть я и конем поеду, да конь будет еще стучать копытами по степи и меня выдаст. Плохо! Надобно заставить их прогуляться в другую сторону."

Потом наскоро, из своего кобеняка (плаща) и травы, сделал он куклу, привязал ее на седло, наклоня к луке, и, сорвав какое то крепкое колючее растение, положил под седло прямо на голую спину лошади, проворно подтянул подпруги и в то же время ударил ее нагайкой, примолвя— "Прощай, добрый конь! Вряд ли увидимся". Горячий конь прянул и, чуя боль на спине от колючей ветки, помчался, как птица, в степь по дороге к своему зимовнику Долго скакал одиноко быстрый конь все шибче и шибче, беспрестанно понукаемый колючкою, и уже стал теряться в горизонте, как слева мелькнуло ему наперерез что-то как муха, потом еще, еще — и целая стая крымцев

вытянулась в погоню, словно борзые собаки за зайцем. Увидя, это, Касьян улыбнулся, махнул рукою и, спустясь в овраг, быстрым шагом пошел, почти побежал к Днепру.

Была уже глубокая ночь, когда Касьян, измученный быстрою ходьбою, пришел к Днепру, напился, освежил лицо и голову студеною водою и тихо пошел по берегу, чтоб немного отдохнуть и, выбрав удобное место против фигуры, переплыть реку. Все было тихо; ночь безлунная, но звездная; за рекою, на широких лугах, перекликались коростели; порою сонная рыба, поворачиваясь, всплескивала хвостом воду, да лягушки, испуганные шагами Касьяна, прыгая с обрывистого берега в реку, нарушали общее молчание. Когда все стихло, один только Днепр плескался своими вечными волнами. В воздухе разливалось благоухание от душистых грав, с которых крупным дождем валилась роса на Касьяна, когда он раздвигал, разрывал их, идя по берегу; но вот на противоположном берегу затемнело что-то, будто колокольня. "Фигура!" — сказал Касьян и поплыл на ту сторону.

На границе гетманщины, вдоль по левому берегу Днепра, начиная от устья Орели до Конки-реки (Конские Воды), построены были около самой воды заезжие дворы, называемые радутами; дворы были обнесены крепким частоколом; внутри находилось просторное здание для людей, крытое соломою или тростником, и конюшни: в каждом радуте помещалось пятьдесят человек гетманских казаков с есаулом, которые составляли пограничную стражу и ежегодно сменялись. Редуты всегда строились так, чтоб из одного было видно другой, и были один от другого, судя по местоположению, верстах в двадцати, десяти и даже менее. Около каждого радута, не ближе четверти версты, иногда немного и далее, в осторожность от огня, были фигуры, сложенные в виде башен или колоколен из смоляных бочек; для этого поливали землю смолою и ставили перпендикулярно

шесть смоляных бочек одну около другой и связывали крепко высмоленными веревками, наблюдая, чтоб внутри образовалась правильная круглая пустота вроде чана; на этот круг ставили другой такой же точно, только из пяти бочек, сверху третий круг из трех бочек, на этот прибавляли еще две, а на самый верх ставили, как трубу на самовар, одну пустую бочку, не имевшую ни нижнего, ни верхнего дна. В этой бочке была сделана перекладина из железного прута, а через перекладину был перекинут канат, которого оба конца спускались до земли; к одному из концов привязывался большой пук мочалки, вываренной в селитре и напитанной разными горючими веществами. У фигуры находилось бессменно два или три человека часовых.

Если вы проводили когда-нибудь бессонные ночи не за картами, не за бокалом, не в шумных танцах, где оглушающий гром оркестра или женщины, то сверкающие, жгучие, как солнце, то отрадные, томные, как свет луны, заставляют противоестественно биться ваше сердце и забывать весь мир, кроме одного бурного чувства наслаждения; если вы проводили бессонные ночи в уединении, лицом к лицу с природою, то, верно, заметили, верно, помните чудесный предрассветный час, когда, будто чуя близкий конец свой, ночь усиливает обаяние, становится еще темнее; все в природе затихает: ни звука, ни шороха, даже вода льется вяло, словно в дремоте; на всех тварей налегает неодолимый сон, ночные птицы не летают в это время, лошади перестают есть, дремлют, опустив голову, или даже ложатся.

В такой предрассветный час вышел Касьян на берег, около фигуры. Кругом была гробовая тишина; коростели не перекликались, лягушки не прыгали в воду, рыба не плескалась. Мрачно черная, высилась на темном небе фигура; два казака спали под фигурою; недалеко три лошади лежали, словно убитые, откинув ноги, вытянув шеи; сторожевой казак в

четвероугольной гетманской шапке, опершись на мушкет (ружье), вздремнул и — не заметил Касьяна.

— Добривечор! — крикнул Касьян, подходя к часовому.

Часовой вздрогнул, подался назад и выстрелил по Касьяну. Выстрел отгрянул рекою, далекое эхо наперехват стало повторять его по рощам и заливам, дым покрыл Касьяна; лошади вскочили на ноги, казаки из-под фигуры прибежали к товарищу.

— Да полно вам дурачиться, — говорил Касьян, подходя к казакам, — не узнали старого Касьяна!.. А еще казаки! Здоров ли Семен Михайлович? Ваш есаул Семен Михайлович Дижка?.. Что же вы оглохли?

— Да это в самом деле дядько Касьян, — говорили казаки.

— А то ж какой черт? Нуте-ка поворачивайтесь; нет ли у вас табаку понюхать?

— Есть, — отвечал один, — да и напугал ты нас!

— Добрый табак, будто свечкою в носу палит, — говорил Касьян, — а ты, брате часовой, просто дрянь, не стоишь десятой доли щепотки этого табаку; ей-богу, не стоишь; смешно сказать, дремлет на часах над мушкетом, будто баба над пряжею, да еще и стрелять не умеет: стрелял по мне в пяти шагах и тут повысил, только верх шапки распорол пулею... На, посмотри мою шапку, коли не веришь.

Во время этого разговора прискакал из радута с несколькими казаками есаул.

— Что здесь за шум? — строго спросил есаул.

— Ничего, пане есаул, — отвечал один казак, — запорожец с той стороны, а часовой обознался да и выстрелил.

— Добре сделал, хоть бы и не обознался; пускай нечистый не носит в такую пору; что такой за казак? Зачем он?

— Не сердись, Семен Михайлович! Я человек вам знакомый: уже два раза в это лето гостил у вас на радуте — разве не узнали Касьяна?

— Здорово, старик! Что же ты плаваешь по ночам, словно русалка?

— Хотелось попробовать, как стреляют гетманцы; да не бойко стреляют, в пяти шагах промахнулись.

— Полно шутить.

— Сперва шутки, а там будет дело. Доставай-ка огниво да зажигай фигуру: крымцы за рекою.

— Ты видел?

— Не только видел, и силы пробовал, и коня через них лишился. Засветишь огонь, увидишь, как меня исцарапали, словно кошки... Насилу добрался до радута, чтоб дать весть.

Есаул вырубил огня, положил трут в горсть сена, размахал его своими руками и, когда сено вспыхнуло, поджег мочалку, привязанную к веревке, и потянул веревку за другой конец: огненным снопом поднялась горящая мочалка кверху, толкаясь

о бочки, и, осыпая фигуру искрами, вошла в пустую бочку на самом верху фигуры; в минуту верхняя бочка запылала, как из трубы, высоким столбом поднялось из нее яркое пламя, и быстро загорелась вся фигура, великолепно отражаясь в темных водах Днепра. Через несколько минут недалеко влево загорелась другая фигура, вправо третья, за ней еще, и еще, и весь Днепр осветился зловещими огнями. Стаями поднялись испуганные птицы с заливов и тростников, наполняя воздух криками; стада диких коней, дремавшие у Днепра, шарахнулись в степь, пробуждая далекую окрестность звонким топотом. Не один поселянин, застигнутый в лесу или в поле на ночлеге страшными фигурами, торопливо спешил домой спасать старуху мать, или молодую хозяйку, или малых детей от смерти или позорного плена татарского; не одна мать, с ужасом посматривая на зловещий пожар, робко прижимала к груди ребенка и босыми ногами, в одной сорочке, по жгучей крапиве, по колючему терновнику — пробиралась в непроходимую чащу леса; не одна девушка со страхом вспомнила о своей красоте, о своей молодости, трепеща сластолюбивого татарина... В ночь, когда горели фигуры, покойно спал разве бесчувственно пьяный человек.

Выпив чарку водки из рук есаула, Касьян взял в ра-дуте доброго коня и поскакал в Лубны, завтракая дорогою куском черного хлеба. Назади полнеба было залито пожарным заревом фигур и по временам слышались выстрелы. Впереди расстилалась степь; но уже не мертвою пустыней лежала степь: то там, то в другом месте раздавались беспрестанные оклики; взошло солнце и осветило тревожную картину: у дороги чумаки, состроив из тяжелых возов каре, выглядывали из него, как из крепости, сверкая стволами мушкетов и винтовок, без которых тогда никто не отлучался из дому; поселяне быстро угоняли из степи в села стада волов и табуны коней; заставляли въезд в деревни рогатками, прятали в землю всякое добро и хлеб, завязывали в кожаные мешки,

заколачивали в бочонки деньги и опускали их в глубокие колодцы, в пруды и на дно речек; с мостов снимали доски и заводили лодки в непроходимые тростники.

— Далеко ли? — спрашивали люди Касьяна, когда он въезжал в село, покрытый пылью и потом.

— Вот, вот, за горою, — отвечал Касьян.

— А куда бог несет?

— В Лубны к полковнику. Перемените-ка мне коня, скачу по вашему делу.

— Бери хоть всех, дядьку!

Так переменяя коней, Касьян, можно сказать, летел день и ночь в Лубны. Тревога и удаль поездки помолодили Касьяна; он не чувствовал усталости, он не слыхал на себе восьми десятков лет и, подъезжая к Лубнам, пел веселые песни.

IV

Одарка мички не допряла,

Аж ось Харко у хату вбіг,

Під лаву кинув свій батіг:

"Вп'ять татарва на нас напала!" —

Він зопалу сказав.

С Писаревський

— Гадюко! Гадюко!

— Чего, пане полковник?

— Скучно, Гадюко, очень скучно! Не знаю отчего.

— Может, объелся, пане.

— Умный человек, а говорит глупости. Объелся! Какого я дьявола объелся? Ну, скажи на милость, чего б я объелся? Чего бы человек объелся, когда еще не обедал, а только завтракал?..

— Чего ж бы тебе скучать, пане? Житье хорошее, поступки твои все законные, лыцарские: чего ж бы скучать?

— В том-то и дело! Я тебя спрашиваю, а ты меня спрашиваешь. Это глупо.

— Кобзаря позвать разве?

— Кобзари божий люди, да из ума выжили — ни одной песни порядочной не знают.

— Выкричались.

— Как выкричались?

— Вот, примерно, взять бутылку и стать из нее наливать в стаканы вино или что другое: до времени из бутылки все льется вино, а вылилось, уже и не станет и не льется, хоть

сожми бутылку обеими руками; тогда разумный человек принимается за другую. Так и кобзари пели песни, кричали, а теперь уже выкричали все и петь нечего.

— А что ты думаешь? Ведь оно так.

— Не нашему глупому разуму рассуждать, а может, и так.

— Так, так, Гадюко! А все-таки мне скучно. Веришь ли, чарка не идет в душу: взял чарку в рот сегодня, чуть не выплюнул, из политики только проглотил... Хоть дом подпалить от нечего делать.

— Эту потеху можно поберечь на дальше, а теперь не послушал ли бы, пан, сказки?

— Пожалуй, только лыцарскую сказку я готов слушать. Жаль, Герцик пошел на охоту; он много знает сказок... Жаль!

— Я знаю сказку, коли станешь слушать — расскажу...

— Что ж ты давно не говоришь? Говори! Хорошая у тебя сказка?

— Оно сказка не сказка, а быль; я не москаль, сам своего товару хвалить не стану; одно знаю, что Герцику не рассказать этой были.

— Не говори. Гадюко! Герцик очень разумен; у него сидит в носу муха, большая муха...

— Может, и не одна, — угрюмо заметил Гадюка.

— Полно ворчать! — сказал полковник Иван. — Прикажи часовому, чтоб стал у моей двери и никого не пускал; хоть бы кто пришел судиться или с жалобою — всем одно: полковник, мол, занят делами, бумаги подписывает. Да придвинь ко мне вот эту бутыль с наливкою и чарку, авось под сказку перестанет упрямиться да и пойдет тихомолком в горло. Ну, начинай!

— Жил-был, — начал Гадюка сказочным тоном, — один полковник, как бы и твоя милость, и стало скучно полковнику, нигде места не нагреет, ходит из комнаты в комнату, хлеба кусок не идет ему на душу, чарка не льется в горло, как бы...

— Что как бы? — спросил полковник, ставя на стол опорожненную чарку.

— Хотел сказать, как бы и твоей милости, да вижу, что чарки, благодаря бога, лезут к тебе в рот, словно вечером воробьи под крышу.

— А тебе завидно, собачий сын! На, выпей чарку да говори хорошенько, чтоб у тебя слова не летели, как воробьи из-под крыши.

— Хорошо сказано, — продолжал Гадюка, выпивая чарку, — теперь пойдут слова, словно молодые утки выплывают из тростника рядом за маткою. Вот сгрустнулось полковнику, и стал он от скуки рассматривать новое ружье, что купил недавно за так гроши (отнял) у какого-то не то ляха, не то немца.

— Молодец был полковник!

— Видно, молодец. Долго смотрел он на ружье: на ружье была хорошая оправа, серебряная; по серебру будто пером выведены люди, и звери, и казаки; головки у винтов коралловые, а прицельная мушка на стволе золотая.

— Не в оправе дело. А хорошо било оно?

— Не знаю; говорят, упало раз со стены, с гвоздя сорвалось, что ли, да прямо на бутыли с наливкою, бутылей с десять стояло внизу на полу — все сразу перебило.

— Хитро! А дурацкие речи, Гадюко!

— Статься может; не моя вина, за что купил, за то и продаю. Вот посмотрел полковник на ружье да и захотел его попробовать от скуки; собрал сотню молодцов, сел на коня и молодцы сели, и поехали в Польшу погулять.

— Хорошо, Гадюко, добрая сказка.

— Не сказка, а быль.

— Один черт, что сказка, что быль.

— Один, пане, да не одной масти. Вот едут они в Польше густым лесом, а в лесу пахнет луком не луком, чесноком не чесноком, нехорошо пахнет. "Ген, хлопцы, — сказал полковник, — чуете, ли вы, пахнет неверною костью?" — "Чуем, — отвечали молодцы, — жидом пахнет". Послали разъезд; разъезд вернулся и говорит:

"С версту отсюда над рекою стоит местечко" — "Много народа? Большое местечко?" — спросил полковник. "Я лазил на дерево, — отвечал один разъездный казак, — и все высмотрел:

местечко большое, и площадь есть, и костел, и лавки, а народу не заметил — все жиды, словно в муравейнике; жид на жиде да жидом погоняет". После этого казаки слезли с лошадей, притаились в глубоком овраге и выжидали вечера, чтоб ударить на местечко.

— Молодцы!.. Уж не про Хвилона ли миргородского эта быль?

— Может, про Хвилона, может, и нет; раз сказал я: за что купил, за то продаю.

— Хорошо, говори, да подай мне другую бутыль; эта пуста, как наши кобзари: ничего нет нового! Добрая сказка! Самого забирает в лес, душе весело! Ну?

— Настал вечер, — продолжал Гадюка, — а это было в пятницу против субботы. Пораньше собрались жиды домой, заперли лавки, пересчитали барыши впотьмах, чтоб никто не видел, и тогда уже зажгли свечи; у самого бедного горело свеч двадцать, хоть и тоненьких, маленьких, да двадцать — шутка ли?

— Неужели ты, Гадюко, веришь, что есть бедные жиды? Откуда же взялась пословица: много денег, как у жида.

— Нет, у всякого жида много серебра и чолота, а все-таки у одного меньше, у другого больше, вот последний и будет богаче.

— Так Ну-ну? А казаки где?

— Дойдет и до казаков. Зажгли жиды свечи — и в местечке стало светло, будто в праздник какой, а это было в постный день, в пятницу!..

— Слыхано ли!.. Нечестивые!

— Кроме того, что начинался шабаш, у жидов было и другое веселье: в тот день они держались и стар и мал за райское яблоко.

— Врет твоя быль. Гадюко! Где бы они достали райское яблоко?

— Оно не райское: куда им до рая! А так называется. Приедет какой-нибудь жид в город, простой жид, как и все — в ермолке, в пейсиках, и называет себя не жидом, а хосегом, — это то у них старшой, — вот назовет себя хосетом, приехал, говорит, из Иерусалима, привез старые жидовские деньги и райское яблоко. Идет к нему каждый жид, дает деньги, подержится за. яблоко и трет себе руками лоб: это, говорят, здорово; а женщины покупают у хосета старые деньги, словно полушки из желтой меди с дырочками, дают за полушку червонец и вешают детям на шею, чтоб лихорадка не пристала, что ли!

— Вот дурни!

— Известно Вот в этот вечер пришел в свою поганую хату жид Борох, а у него лоб красный-красный — натер, говорит, яблоком, — пришел и сын, не то ребенок, не то человек, а так подлеток Старуха, Рохля, жена Бороха, тоже была у хосета, купила старую полушку и нацепила ее на шею трехлетней дочке; дочка бегала вокруг стола, пела, кричала, а Борох с женою и сыном ужинали гугель, по-нашему лапшу, с

шафраном, да рыбу с перцем, да редьку вареную в меду, а закусывали мацою, лепешками без всего, на одной воде, даже без соли.

— Фу! На них пропасть! Скверно едят!

— Оттого они жиды. Едят они — а в окно как засветит разом, словно солнце взошло: пустили казаки красного петуха, зажгли местечко. Выстрел, другой, крик, шум, резня, звенят окна...

— Славно, Гадюко. Так их!

— Жидовский подросток выскочил из хаты. за ним старый Борох... только Борох не выскочил, упал назад в хату с разбитою головою к ногам Рохли, а в дверях показался казак: сабля наголо, шапка на правом ухе, усы кверху. Рохля упала на колени, схватила на руки маленькую дочку и стала просить и плакать: "Убей, говорит, меня, а не бей дочки, я все расскажу". Выслушал казак, где золото, набил полные карманы золотом, взял на руки жидовочку, а Рохлю так задел, выходя, саблею, что она тут же и растянулась.

— На что ж казаку маленькая жидовочка?

— У полковника между охочими казаками было человек пять запорожцев: дорогою пристали до компании, а запорожцам за детей хорошо платят оседлые, что живут на зимовниках; вот запорожец и взял дитя и продал его за деньги, и слово лыцарское сдержал, не убил дитяти; ему же лучше.

— Лучше! Ну?..

— Вот казаки разграбили местечко, потешились, и вернулись домой, и давай гулять на чужие деньги; а сколько парчей навезли, а сколько бархату, а сукон, а позументов!

— Молодцы! Ей-богу, молодцы!.. И все тут? И конец?

— Конец-то конец, да еще есть маленький хвостик.

— Говори и хвостик. Что там за хвостик? У хорошего барана хвост лучше другой целой овцы. Недалеко, в Молдавии, по пуду хвосты весят, да какие жирные... даже мне есть захотелось, как вспомнил... Говори, говори!

— Казаки уехали, а Рохлю не взял нечистый: полежала до света, а светом и очуняла, ожила.

— Ожила?

— Ожила; они ведь словно кошки — умрет, совсем умрет; перетяни на другое место — оживет! Такая натура. Собрались жиды, которые уцелели, поплакали над пожарищем, да и стали попрекать Рохлю: "Ты, — говорят, — продала казакам детей; сын поехал с ними: старый Иоська из-под моста видел, и одет, говорит, в казацкое платье, а дочь увез казак на лошади: это не один Иоська видел; да и дом твой не сожгли казаки, да и самую тебя не убили". Пошла Рохля к хосету, словно помешанная, и воет, и плачет, и шатается, а хосет уцелел где-то между бревнами; долго говорила с ним, да к вечеру и пропала.

— Ага! Околела?

— Нет, без вести пропала, из местечка пропала, исчезла, будто ее кто языком с земли слизал. Скоро после этого

появилась за Днепром ворожея, знахарка, очень похожая на Рохлю, и стала шептать православным людям, и лечить православных, и кому ни пошепчет, кого на напоит зельями — все умирают, никто не выскочит, лоском ложатся, словно тараканы от мороза в московской избе. И много уже лет ходит она, изводит честной народ, приходит ночью на каждую свежую могилу и хохочет, окаянная, и веселые песни поет.

— Ух! Сила крестная с нами! Что ж ее не изведут-то?

— Попробуйте, пане. Где видано спорить с нечистою силою!.. А вот сын ее прикинулся христианином, зажил меж казаками, как наш Герцик.

— Не мешай Герцика! Я тебе раз сказал, не говори худо о Герцике; я знаю, все не любят Герцика оттого, что он мне верно служит, что я ему и отец, и мать, и родина, а это другим не нравится; другие рады продать полковника за люльку тютюну (трубку табаку), за чарку водки — вот что я раз сказал и не отступлюсь от слова, пускай на меня грянет гром, и сто тысяч бочонков чертей расщиплят мою душу, как баба с курицы перья, если отступлюсь... Я сказал — и будет так! Мое слово крепко...

Полковник запил последнюю фразу чаркою настойки и быстро начал ходить по комнате. Гадюка замолчал, стоя у порога, и угрюмо смотрел исподлобья на полковника.

— Ну, что ж? — говорил полковник, садясь на кровать.

— Было из-за чего сердиться, — сказал Гадюка.

— Я не сердился, я только сказал, что я человек характерный — и все тут.

— И без того все это знают.

— И хорошо делают. Ну, что ж?

— Ничего. Моя быль хоть и кончена. Известно, может, и выдумка, а может, и правды зерно есть...

— Разумеется, сказка! Где же сын?

— Живет между казаками, морочит добрых людей; это еще бы ничего, а то говорят....

Но сказка Гадюки не кончилась: дверь в светлицу с шумом распахнулась, и часовой казак грянулся на пол, став на четвереньках перед кроватью полковника; за ним в дверях стоял вооруженный седой запорожец.

— Вот тебе, дурень, на орехи! — говорил запорожец, поглядывая на часового, который карабкался по полу, силясь встать. — Выдумал, дурень, не пускать запорожца к пану полковнику. Здоров, пане!

— А ты как смел входить, когда не приказано?

— А как смеет ходить ветер по полю? Небойсь, спрашивается у гетмана?.. А запорожец — родной брат ветру; я и к кошевому хожу, коли дело есть, не спрашиваясь; я не баба, не приду болтать о соседках. Дело есть, нужное дело — вот и все.

— Посмотрим, какое там дело! Посмотрим, Гадюко.

— Два дела есть у меня, — сказал Касьян. — Первое: вели скорее запирать ворота, вооружай людей — татары идут...

— Где они там у дьявола?

— До сих пор, чай, уже грабят твой полк. Вчера ночью они должны перебраться через Днепр.

— Не велика важность! — сказал полковник, вопросительно посмотрев на Гадюку. — Не видали мы этой дряни ..

— Хорошо сказано, — отвечал Касьян, — так зачем же ты просил помощи у запорожского товариства и зачем я, дурак, скакал сюда, почитай, от самой Сечи, на переменных конях, по приказу кошевого Зборовского?

— А ты чего тут стоишь? — закричал полковник на часового — Ворона! Ступай на двор и вели трубить тревогу.

Казак вышел.

— Ну, коли ты от Зборовского и знаешь наши нужды, то спасибо тебе за весть, хотя она и не очень приятна. Да не оставляй нас, погости; при обороне города один, говорят, запорожец в деле стоит десяти простых человек.

— Дело известное! — отвечал Касьян.— Теперь другое: кланяется тебе твоя дочь.

— Дочь? А она жива?

— Жива, и здорова, и...

— Ну, пойди сюда, обними меня, братику! Слава богу, что жива она, а о ее бабских делах расскажешь после: теперь надобно Лубны спасать; слышишь, трубят тревогу!..

— Это по-нашему, по-запорожски, лыцарские речи, пане полковник!

— А ты как думал, брате?.. — самодовольно отвечал полковник. — И у нас души запорожские!

И они вышли на широкий двор, где на возвышении стоял трубач и трубил тревогу; народ стекался отовсюду на двор

Часто в Малороссии, проезжая степи весною, вы услышите пронзительный, отчаянный вопль: Татары йдут! Осмотритесь — и никого не увидите, кроме двух-трех мальчиков, пасущих скот, вовсе не похожих на татар, но в этом вопле так много грусти, отчаянья, безнадежности, что он, верно, надолго останется у вас в памяти. Это последние отголоски тяжких, страшных воплей, оглашавших некогда села Малороссии, это крик, переданный от деда внуку, от отца или матери сыну; это вопль, потерявший уже все свое значение, перешедший в игру, в детскую забавку, но сохранивший в своей музыкальной стороне еще много правды; сердце ноет, замирает, слушая его: это новая, красноречивая строка из истории бедной стороны... Хотите знать, для чего кричат мальчики: "Татары йдут"?

Всем известно, что муравей насекомое общежительное и трудолюбивое, об этом даже когда-то было напечатано в новейших российских прописях; известно также, что многие, узнав из новейших российских прописей о трудолюбии муравья, остались этим очень довольны и даже при случае говорят своим детям: "Будь трудолюбив, как муравей, и тебе дадут бонбошку, а со временем сделаешься значительным

человеком", — а весьма немногие старались наблюдать жизнь этого умного насекомого, хоть она, право, занимательнее, разнообразнее, поучительнее жизни весьма многих... Как бы выразиться понежнее?.. Многих... очень вкусно обедающих и просиживающих ночи за преферансом. Но не пугайтесь! Я не стану читать вам лекции инсектологии: мне бы только очень хотелось, чтоб вы в тихое, прекрасное весеннее утро посмотрели на муравейник, когда это маленькое царство покроется белыми личинками (подушками, как говорят в Малороссии). Муравьи инстинктивно чувствуют необходимость держать свои личинки, надежду на будущие силы муравей ника, в сухости, и вот бережно выносят они из своих темных подземных коридоров беленькие подушечки, рас кладывают их рядами против солнца и удаляются на работы, оставя возле каждой подушечки двух часовых, ко торые тихо сидят, будто неживые, сторожа свое со кровище, малейший шум, легкая тень от перелетного облачка — и они тревожно хватаются за личинки. Деревенские мальчики знают эту заботливость муравьев и, пася скот, иногда целый день, от скуки перебегают от муравейника к другому и пугают комашек, для этого они подбегают к муравейнику, наклоняются над ним и громко в один голос кричат:

Комашки, комашки,

Ховайте подушки —

Татари йдуть!

(Муравьи, прячьте личинки — татары идут)

Первые два стиха говорят каким то беглым речитативом, а третий поют громко, пронзительно И, боже мой! Какая суматоха подымается в муравейнике от этого крика, в секунду

все черное поколение высыпает на ружу, караульные схватывают личинки, шум, бегот ня — и личинок будто не бывало, только некоторые муравьи бросаются из конца в конец муравейника, как бы стараясь узнать причину суматохи, другие таскают соломинки и этими бревнами заваливают входы в свои подземелья.

Вог причина крика "татары йдут!", если вы когда-нибудь его услышите теперь на степях Малороссии.

А в старину такое явление представляло почти каждое село от зловещего крика татары, идут, и Лубны очень были похожи на перепуганный муравейник Весть о близком набеге татар быстро разнеслась по городу кто чистил оружие, кто делал патроны, кто натачивал саблю, кто сносил добро в церковь. А в церквах священники в полном облачении служили молебны, толпы женщин, упав на колени на церковный помост, громко молились и плакали, порою заходил туда казак, клал земной поклон, ставил свечку перед образом спасителя и поспешно выходил заняться своими работами. Гонцы скакали в окрестные села, из сел шли толпы народа защищать и прятаться в крепость, шли женщины, неся на руках грудных детей, гнали скот, громко шумел народ, бабы кричали, дети плакали, скот уныло ревел, бессмысленно посматривая на незнакомые улицы и домы На Касьяна смотрел народ с каким то особенным уважением, как на запорожца, да еще бывшего вчера в схватке с крымцами Полковник на коне беспрестанно скакал по улицам, за ним Герцик и Касьян. На валу зарядили пушки; поставили сторожевых, гармаши (пушкари) сидели на лафетах, к воротам навезли бревен и камней, чтоб на ночь завалить их, на валу в особенных земляные печах поставили котлы, наполнили их смолою и постным маслом, подложили под них дров и сухого тростника, чтоб в случае нужды мигом вскипятить их и обдавать с валу крымцев К вечеру все было готово; завалили ворота крепости, разложили на валу

сторожевые огни, и полковник, измученный дневными трудами, пошел на минуту отдохнуть, приказав Герцику не спать до полуночи, а с полуночи разбудить себя. Герцик увел Касьяна в свою комнату, хоть старую, мрачную и с железными решетками, но ярко освещенную огнем, пылавшим в печке, там жарилась баранина и в кувшине варилась вкусная варенуха.

Приятно было старому Касьяну отдохнуть, и понежиться, и поесть, и подкрепить силы варенухой после тяжкой езды, добровольного поста, двух бессонных ночей и двух дней, проведенных в тревоге.

Касьян хоть был запорожец и лет двадцать-тридцать назад проплясал бы еще и эту ночь, однако лета взяли свое: после куска жирной баранины и нескольких чарок теплой варенухи на него нашла лень, истома, рука в плече заболела, ноги стали будто не свои, глаза поминутно слипались, и, наконец, он, склонясь на лавку, захрапел молодецким сном.

V

"Бач, чортякэ! Бач, падлюка,

Як умудровався!

Се вже, бач, німецька штука!" —

Твардовський озвався.

Гулак-Артемовський

Зажурилася Хмельницького сідая голова,

Що при йому ні сотників, ні полковників нема.

Час приходить умирати,

Нікому поради дати.

Народная малороссийская дума

Рассветало. Проснулся Касьян, потянулся, зевнул и, посмотря на окно, проворчал: "Стар стал Касьян! Незаметно проспал до утра". В разбитое окно, через решетку, веяло утреннею свежестью; где-то недалеко слышен был шорох, будто от ходящего человека. Касьян подошел к окну; за окном узкий дворик, огороженный высокой стеной; на дворике никого не было, только воробей, сидя на ветке какого-то сухого кустика, надувался, ерошил свои перья и встряхивался. За дверью опять послышались шаги. Касьян бегло взглянул по комнате — нет его оружия; подошел к двери — дверь заперта. Протяжно свистнул он и отошел.

— Штука! — ворчал Касьян, ходя по небольшой комнате.— Немецкая штука! Хитро, чтоб ему первою галушкой подавиться! Да и нехорошо как! Не приведи господи, нехорошо! Где это видно: зазвать гостя, упоить, отобрать оружие, да и запереть в клетку? Нехорошо! Что, я им дрозд какой, что ли? Перепел, что ли? Зачем меня держать в клетке?.. Дурень я, не догадался вчера, когда пришел в эту гадкую тюрьму, разбить было немецкому казаку голову, приговаривая: "Не води угощать в тюрьму вольного запорожца!" Так нет, поддался, старый дурак! Сам вошел, седой баран, в загорожу. Недаром этот перевертень так подбивался, подъезжал ко мне, словно парубок к смазливой девке, и о Чайковском расспрашивал, и о Марине, и пил их здоровье, будто они ему родня какая!.. Не догадался, просто не догадался! Что я ему за

приятель? Правду говорят: коли человек больно тебя ни с того ни с сего ласкает, берегись: или он обманул или обмануть хочет...

За дверью опять послышались шаги. Касьян подошел к двери и сильно ее дернул — нет ответа, только снаружи загремел, застучал тяжелый замок.

— Эй, ты! Слушай, ты! Откликнись! Коли ходишь, так и говорить умеешь Кто там? Молчание

— Ну, что ж ты не отвечаешь? — продолжал Касьян — Языка нет? Верно, не человек ходит; это корова ходит.

— Врешь, не корова, а казак, — отвечал за дверью голос, обиженный неприличным сравнением.

— Всилу-то отозвался! Скажи мне на милость, что за комедию со мною играют! Зачем меня заперли сюда? Верно, боялись, чтоб я, в хмелю, не разорил вашего города? А?

Молчание.

— Да что же ты не говоришь? Отозвался было, как человек, — и замолчал, словно рыба!

Молчание.

Касьян махнул рукою и начал ходить по комнате; подошел к окну, там опять только воробей весело прыгал по сухим веточкам чахлого кустика и, поворачивая кверху головку, отрывисто перекликался с товарищем, который отзывался где-то на кровле. Касьян плюнул — воробей улетел, все стало тихо.

— Жидовская птица! — сказал Касьян, отходя к своей постели, сел и задумался.

Бог знает, что думал Касьян; но верно не очень веселое, потому что, мурлыкая себе вполголоса, мало-помалу перешел в песню и запел известную в Малороссии трогательную думу о побеге трех братьев из Азова:

Из города из Азова не велики туманы подымались:

Три казака родных брата из тяжелыя неволи убирались.

Двое конных, третий пеший вслед за братьями спешит;

По кореньям, по каменьям меньший брат босой бежит;

Ноги белые о камни посекает,

Кровью теплою следочки заливает,

Конных братьев догоняет

И словами промовляет:

"Станьте, братцы, быстрых коней попасите

И меня, меньшого, обождите".

.....

С первых стихов заметил Касьян, что невидимый голос за дверью подтягивает ему; Касьян запел громче, начал выводить

голосом трудные переходы — голос вторил ему верно. Касьян не выдержал и, не кончив песни, закричал:

— Славно, брат! Ей-богу, славно! И голос у тебя хороший... Ты до конца знаешь эту песню?

Голос умолк.

— Странлый человек! — продолжал Касьян.— Поет хорошо, а говорить не хочет.

— Говорить не хочет! — сказал сам себе казак вполголоса: — Рад бы говорить, да когда не велено!

— А! Вот что! Говорить не ведено, так петь, верно, можно, коли поешь. Ну, пой мне, я начну. И Касьян запел:

Ой на горе явор зелененький...

Скажи ты мне всю правду, казак молоденький:

За что меня невинного в тюрьму засадили?

Железным запором тюрьму затворили?

— Ну, что ж ты не поешь? — сказал Касьян.

Видно, часовому понравился разговор в новом вкусе: за дверью послышался тихий смех, прерываемый словами: "Сказано запорожец! Вот притча!"; потом смех немного успокоился, и часовой запел на тот же голос:

За что тебя посадили, я того не знаю;

Я так себе человек, моя хата скраю.

Касьян

Да какому ж я обязан собакину сыну,

Что не в поле, а в тюрьме, может быть, загину?

Казак

Ои, спит казак под горою; сабля сбоку

И мушкет, и конь пасется недалеко.

Пришли люди темной ночью полегоньку,

Обобрали казаченька потихоньку:

Так пан велел, старшой велел, говорили,

И казаченька в темницу затворили;

А темницу замком запер панский чура

На нем платье казацкое, а натура...

А натура не казачья, не..

— А в солому!.. Вишь как воет! — закричал за дверьми строгий голос. — Что ты, на улицу вышел?.. На вечерницах?

— Мне говорить запрещали, а петь не запрещали, так я и пою со скуки.

— Молчи! Петь не запрещали!.. Разговорился; я тебя проучу... Он спит?.. Не слышно?

— Нет, не спит, уже и пел песни.

— То-то, ты своими криками да воем хоть мертвого разбудишь... Не дал гостю успокоиться...

После этого загремели замки, заскрипела дверь, и послышались шаги под окном Касьяна; скоро он увидел между решеткою лицо Герцика.

— Здравствуй, дядюшка! Здравствуй старик! — говорил Герцик, улыбаясь.

Касьян молчал.

— Не сердись, храбрый запорожец, не сердись, лыцарь; не моя вина; видит бог, как я люблю тебя; уже за одно то люблю, что ты дал пристанище моему бедному другу Алексею! Что-то он теперь делает...

— Чего тебе хочется? Отвяжись от меня! — грубо сказал Касьян.

— Чего мне хочется? Ай, боже ж мой! Ничего мне не хочется; я всем доволен, по милости полковника. Славный человек полковник, только хитрый, подозрительный. Целый день вчера все отведет меня в сторону да и говорит: "Боюсь я, Герцик, этого запорожца; кто знает, может, он подослан крымцами, да им и ворота отопрет". — "Бог с вами, пане мой! — говорил я. — Такой ли это человек; да он и вашу дочку приберег у себя; да он и смотрит не так". — "Нет, — говорит

полковник, — мне не верится, чтоб и моя дочка была жива". И все такое неподобное... даже хотел пытать тебя...

— Меня? — громко сказал Касьян. — Пытать запорожца?

— То-то и есть; а делать нечего: сила солому ломит!.. Всилу я упросил, чтоб тебя посадили в тюрьму.

— Вот за это спасибо! Видно, что добрый человек.

— Именно добрый. Не пугайся, Касьян, тебе будет хорошо: ты будешь и сыт, и пьян; а когда прогоним татар и полковник увидит, что ты прав, что у тебя нет с ними ничего, вот мы и поедем все к тебе на зимовник. Полковник простит дочку; она приедет сюда с мужем, и пойдут пиры да веселье! Ой, ой, ой! Что за пиры будут!.. Не скучай, Касьян! Не сердись на мене, я тебе добра желаю; да как выпустят, не говори полковнику, что я был у тебя: он очень подозрительный человек, и мне худо будет! Прощай, Касьян! Не сердись на меня, не скучай! — и есть, и пить принесут тебе вволю, отдыхай после дороги.

— А моя сабля где?

— Сабля у полковника, висит на стенке под образами! В почете твоя сабля, добрая сабля! Нельзя ли мне , пошалить твоею саблею с татарами? С лыцарскою саблей и сам станешь словно лыцарь.

— И не думай!.. — закричал Касьян. — До сих пор верно служила моя сабля, крестила головы неверных, не выкрошивалась; не притуплялась; до сих пор чужая рука не трогала ее — и не тронет; умру — завещаю положить ее в гроб со мною. Ты, может быть, и добрый человек; бог тебя знает,

что у тебя на уме, только не трогай моей сабли, не обижай старика, да еще заключенного, не ссорься со мною.

— Сохрани меня боже, боже меня сохрани! — говорил уходя Герцик. — Прощай, дядюшка, не сердись; я полковнику передам твою волю: добрый казак любит саблю, как жену, больше жены, сто раз больше, тысячу раз... сто тысяч...

А между тем, при первых лучах солнца сторожевые казаки с крепостного вала приметили вдали большие клубы пыли, и вскоре показались на степи легкие отряды татар. Вооруженные казаки высыпали на вал; гармаши (пушкари) стали у пушек; известные, опытные стрелки, зарядив гаковницы (длинные крепостные ружья), навели их в поле и, припав за щитками, выжидали неприятеля. Татары наездничали, гарцовали, подскакивали к крепости, изредка пуская стрелы, которые, не долетая к цели, вонзались в землю. Казаки не стреляли. Несколько раз казаки просились у полковника из крепости погулять за валом и переведаться с татарами; но полковник угрюмо отвечал им: "Не пора!" или "Не спешите прежде отца в пекло (ад)" — и с нетерпением поглядывал на север. Еще вчера, сейчас по приезде Касьяна, полковник Иван послал гонца к полковнику прилуцкому просить помощи и приказ пирятинской сотне немедля явиться под Лубны: гонец не являлся, помощи не было, пирятинцы не шли. Татарские наездники стали смелее, начали ближе подъезжать к валу; но грянула с крепости гаковница, другая, третья, и они рассеялись, оставя на месте двух человек да коня; один лежал ничком, будто спал; другой, лежа кверху лицом, махал руками почти до полудня, словно ветряная мельница, а раненый конь все силился подняться, становился на передние ноги и, сидя на задних, как собака, судорожно вытягивал длинную шею, глядя на крепость, так что страшно было смотреть на него; потом, шатаясь, падал и опять становился на передние ноги...

Настал полдень тихий, знойный. Татары, выехав из-под выстрелов крепостных орудий, стояли густыми толпами; над чистым полем плавал в небе большой коршун; распустив широкие крылья, вытянув ноги, вооруженные острыми когтями, медленно спускался он на трупы и, торопливо откидываясь в сторону, будто нехотя подымался кверху, когда раненый татарин быстро взмахивал руками. По полю труском бежала какая-то пестрая собака, опустив хвост, повеся голову и длинный высунутый язык; усталая, остановилась она перед трупами, кругом понюхала поле, завыла и, поджав хвост, бросилась бежать со всех ног. Полковник, отирая потные глаза, посмотривал на север — на севере никого не было — только чистая степь, раскаленная полуденным солнцем, да по степи, словно бегущие стада белых овец, мелькал порою жаркий пар на далеком горизонте.

Герцик советовал полковнику сделать вылазку; полковник не соглашался, ожидая скорой помощи.

— На что вам, к чему вам помощь, когда вы сами великий лыцарь? — говорил Герцик. — Придет помощь, вы разобьете татар и все скажут: не сам разбил полковник Иван, люди помогли, еще, пожалуй, запоют песню, бабскую песню:

Ой не сама пряла —

Кума помогала;

Дала куме миску пшена

И два куска сала...

Бабская песня, а запоют ее на ваш счет — и вам будет совестно, и придраться будет не за что.

— А хотел бы я послушать, кто запоет?

— Язык без костей! Любая баба запоет — что вы ей скажете! Эту песню давно поют, не стать вам, пане, запрещать ее! Запретите, еще хуже, неподобное скажут про вас, про храброго лыцаря; и в Прилуках, и в Миргороде будут петь песню, коли в нашем полку побоятся... Я вас люблю, пане мой, очень люблю . вот откуда берутся слова мои.

— Знаю, друже мой, знаю, братику Герцик, спасибо тебе; даст бог утихнет жар, я с ними переведаюсь, я докажу, что сам побью эту погань, без прилуцких дегтярей... хоть осторожность не мешает... А что запорожец?

— Сидит под караулом.

— И слава богу! Ты надоумил меня припрятать эту старую лисицу. Спасибо, брате, мне и в голову не пришло сначала, что это шпиг (лазутчик) от татар, наделали бы кисло во рту, если б оставили его на воле...

— Известно! Вы сами, пане, прежде об этом думали, да не хотели обижать лыцаря; вы сейчас и приказали, что думали...

— Экая голова у тебя, Герцик! — сказал самодовольный полковник. — Мысли мои даже знает...

— Я дрянь против вас, пане мой, а господь умудряет слепцов... И какую историю выдумал этот старик: будто покойница Марина — царство ей небесное — воскресла.

— Чудно и мне показалось это, да долг лыцарский не велел расспрашивать о бабе... А что, если она жива?

— О, боже ж мой! разве, пане, мертвые воскресают? Сам видел, как она взошла на подмостки, сам видел .. да я уже говорил вам.. всилу ушел из Сечи, и меня казнили б, если б нашли, так разлютовались эти неверы!

— Не говори так, Герцик, — грустно сказал полковник, — они христианские лыцари, а хитры бывают и люты, словно волки... Не думал я пережить моей Марины; не сдержал слова покойнице жене..

— Что с воза упало, то пропало, пане мой. Что ж, если б и осталась в живых Марина?

— Видит бог, я бы отдал ее за Алексея. Я и тогда хотел это сделать . да . бог его знает... как... Ну, да что говорить об этом! Выспрашивал ты вчера запорожца о моей дочке?

— Целый вечер . Да врет небылицы, старая лиса! Так, говорит, пришли, да и живут у меня — видимо путается в речах; он, живя на зимовнике, верно, не знал того, что вы знаете из письма кошевого и моих слов.. а выдумал сказку, для большего почету думал, что вы баба — оттого, что они всех нас, гетманцев, считают бабами — и расплачетесь при весточке о дочке и дадите ему волю делать что захочет для крымцев. Верно, получил от хана не один дукат...

— Так, так! Постой, собака! Управлюсь я с татарами, я научу его, как шутить с полковником Иваном. Что же он теперь? Ты его видел сегодня?

— Видел. Сильно загрустил, бьется об решетки, даже плачет...

— Пускай плачет, пускай плачет, от злости плачет! Понюхал пирога, да не удалось попробовать... А не худо бы и нам перекусить, Герцик.

Начало вечереть. Татары небольшими кучками стали разъезжать по полю перед крепостью; одна из них, побольше, подъехала довольно близко и окружила трупы товарищей; некоторые слезли с коней; казалось, хотели поднять и увезти мертвые тела. Гармаш прилег к пушке, приложил фитиль — и с крепостного вала грянул выстрел: ядро попало прямо в кучу; как живое серебро, разбрызнулись татары в стороны, оставя на месте еще нескольких товарищей и две длинные пики, воткнутые в землю, на пиках торчали только что отрубленные казачьи головы; кровь струилась по длинным древкам; вечерний ветерок покачивал их. в стороны и веял черными чубами...

— На коней, хлопцы! — сказал полковник, заскрежетав от злости зубами. — Вот я им! А где Гадюка?

— Готовит ужин для пана, — отвечал Герцик, — да позвольте, я поеду за вами. На что вам Гадюка? Ждать долго...

— Пожалуй! Что это у тебя за перышко на шапке?

— Заговор (талисман) от иули и стрелы и всякого оружия, — отвечал Герцик, выезжая рядом с полковником из крепостных ворот.

Быстро понеслись казаки врассыпную на крымцев, и в минуту по всему полю завязалась жаркая схватка. Человек десять татар скакали прямо на полковника. Полковник с Герциком скакал на них. Шагах в двадцати от крымцев полковник выхватил из кобуры пистолет, спустил курок —

вспышка; другой пистолет тоже не выстрелил; брося и этот на землю, полковник поднял руку, вооруженную тяжелою кривою саблей, сверкавшею в воздухе, как светлый рог молодого месяца, но в ту минуту две стрелы впились ему в грудь; полковник зашатался на седле, опустил поднятую саблю, а татары, схватя за поводье его лошадь и лошадь Герцика, поскакали в степь. Казаки бросились выручать своего начальника; но их было мало, а крымцы прибавлялись с каждою минутой, били казаков и теснили к крепости. Вдруг страшный вопль огласил поле: из крепости скакал чудный воин, на неоседланной и невзнузданяой дикой лошади; быстро летел он, схватя ее за гриву и поворачивая жилистою рукою во все стороны, словно поводами; голова без шапки, нестриженая, небритая, нечесаная, ноги обнажены до колен, руки до локтей, в правой руке поднят тяжелый топор.

— Где вы дели, собаки, моего пана? — страшно кричал он, ринувшись в толпу татар. — Пане мой, пане мой! Здесь я, здесь Гадюка! — кричал он, быстро опуская направо и налево тяжелый топор, от которого, как снопы от бури, валились татары. Отбив раненого полковника, Гадюка перебросил его поперек коня и помчался в крепость; но вслед за ним поскакали и Герцик и казаки, теснимые со всех сторон множеством крымцев. Уже были они у крепостных ворот, неся на плечах своих неприятеля, как с гиком ударила вбок пирятинская сотня; крымцы испугались засады, сробели свежего войска и, преследуемые в свою очередь казаками, ускакали в степь, присоединяясь к своим обозам. Пирятинцы, распустив сотенные значки, вошли в крепость, приветствуемые народом. Вместо раненого полковника, принял над крепостью начальство пирятинский сотник.

Настала ночь. На далекой степи, словно звездочки, засветились сторожевые огоньки татар; на крепостном валу казаки удвоили стражу.

В своей опочивальне, на широкой кровати, покрытой до полу азиатским ковром, лежал полковник Иван, сильно страдая от ран.

Казак-знахарь (лекарь) осмотрел раны, перевязал их и покачал головою.

— Что? — спросил слабым голосом полковник.

— Ничего, пане полковник! — отвечал знахарь.

— Нет надежды? А?

— Богу все возможно...

— Оставь это... я не баба. А по-твоему как?.. Что?..

— По-моему, плохо.

Полковник покачал головою и тихо спросил:

— А Гадюка где?

— Лежит раненый,— отвечал Герцик,

— Худо! Останься со мною, Герцик;. а вы все... Тут полковник махнул рукою — все вышли. Герцик запер дверь и подошел к полковнику.

— Слушай, Герцик, — говорил полковник, — расспроси этого запорожца о моей Марине... мне.. мне все кажется, что жива она... Казаки не поймут меня, подумают, я без

характера... а ты любишь меня, слушай: если это правда... если она... — И полковник начал шепотом говорить Герцику.

Наклонясь над полковником, Герцик долго слушал, вперив свои быстрые очи на умиравшего, и страшно улыбнулся. Когда умолк полковник, он с дикою радостью прошелся по комнате, подошел к кровати, наклонился к лицу полковника, внимательно прислушивался и сказал: "Хорошо, пане, вам неприятен свет, я вас поворочу к стенке". Потом поворотил полковника лицом к стене, покрыл его синим походным плащом и, отойдя на середину комнаты, кашлянул и сказал довольно громко:

— Теперь хорошо, пане? А?

— Хорошо, — ответил полковник слабым шепотом.

— Хорошо, хорошо! — сказал Герцик. — Теперь я пойду исполню вашу волю, пане мой — слышите?

— Слышу.

Герцик вышел.

— А что? А что? — спрашивали Герцика старшины, бывшие в другой комнате.

— Ангельская душа! — отвечал Герцик со слезами на глазах — Он чует свой близкий конец и обо всех помнит.

— Неужели?

— Да; говорит, если я умру, Герцик, скажи, чтоб отдали пирятинскому сотнику моего черкесского коня Сивку..

— Добрый конь! — говорили старшины.

— Мне с ним и не управиться! — сказал сотник.

— А хорунжему Подметке, — продолжал Герцик, — мое старое ружье.

— Знает, что я охотник: добрая душа!

— Есаулу Нелейводу-Присядковскому — серебряную чарку.

— Упьюсь из этой чарки, — сказал Нелейвода-Присядковский, — ей-богу упьюсь!

— Есаулам Гопаку и Тропаку по паре красных сапогов с серебряными подковами...

— Спасибо, спасибо! — говорили Гопак и Тропак, — спасибо, дай бог ему ..

— Здоровья? — лукаво спросил Герцик. — Что ж вы не кончаете?

— Известно, здоровья! — торопливо отвечали есаулы. — Мы от горя не договорили. Бог с ними и с подарками, лишь бы здоров был наш добрый начальник!

— Да, да, правда! Добрый начальник! Хороший человек! Дай бог ему всего, что мы ему желаем, — повторили хором остальные. — А тебе что, Герцик?

— Пока ничего; разве что вам скажет; велел вас позвать. А ты, Потап, — сказал Герцик, обращаясь к часовому, — сходи сейчас в тюрьму, узнай о здоровье запорожца Касьяна: полковник, мол, велел; а оттуда забеги к священнику, попроси его сюда с дарами: полковник, мол, просит. Слышишь?

— Слышу, — отвечал казак, выходя за двери.

— Христианская душа! Благословенная душа! — тихо говорили старшины, входя в полковничью опочивальню.

— Оно? — шепотом спросил Подметка, указывая глазами и бровями на ружье, висевшее над кроватью полковника.

Герцик утвердительно кивнул головою.

Полковник лежал, оборотясь лицом к стене, и тяжело вздохнул, когда вошли старшины и стали почтительно у двери.

— Старшины пришли, — сказал вполголоса Герцик, наклоняясь к полковнику.

— Добре! — тихо отвечал полковник и что-то начал говорить вполголоса

— Полковник, уезжая на сражение сегодня, написал свою волю и запечатал ее войсковой печатью, а теперь просит на случай чего-нибудь нехорошего, чего боже сохрани, — говорил Герцик, — просит всех старшин взять эту волю и исполнить ее на случай смерти пана полковника.

— Рады стараться, — отвечали в один голос старшины, низко кланяясь.

— Спасибо! — шепотом отвечал полковник, все еще отворотясь спиною к своим подчиненным.

— Где же бумага, пане мой любезный? — спросил Герцик.

— За образами... Ох!..

— Поищите, пане сотник, — сказал Герцик. Сотник приблизился к образам, ударил земной поклон и, перекрестясь, вынул из-за образа пакет, запечатанный полковничьего печатью. Герцик взял из рук сотника пакет, подошел к полковнику и спросил, поднеся бумагу к самому лицу полковника:

— Это твоя воля, пане?

— Она .. ох... душно!..

— Душно, пане? Не открыть ли окна?

— Добре..

Гопак и Тропак бросились и открыли окно, говоря: — Уже мы, пане полковник, открыли.

— Добре... — и полковник опять начал тихо говорить; Герцик, наклонясь, слушал его со вниманием и потом сказал старшинам:

— Полковник хочет успокоиться и наедине помолиться богу о грехах. Выйдем, паны.

— Какие у него грехи? Чистая душа! Добрая душа! — говорили старшины, выходя из комнаты; впереди шел, важно неся запечатанный пакет, пирятинский сотник, гордясь доверенностью полковника.

Через четверть часа явился священник, вошел в опочивальню и опять возвратился, говоря:

— Молитесь, братья! Он умер!

— Умер?! — вскричали старшины.

— Умер! — сказал священник. — Умер нераскаянный! В грехах умер человек! Молитесь...

— Царство ему небесное! — крестясь, печально говорили все присутствовавшие. Но, бог знает, почему, присмотрясь хорошенько, можно было заметить, что на всех печальных лицах, не исключая даже Герцика, мелькала какая-то скрытая радость.

— Добрый был пан! — сказал Герцик.

— Добрый был начальник, — прибавил сотник.

— Правда, правда, — почти радостно подтвердили все.

— А какой-то будет новый?.. — заметил один есаул.

— Бог знает; что бог даст, то и будет, — говорили старшины. И на этот раз их лица действительно омрачило горькое раздумье.

Чудна игра физиономии человека, невольно подумаешь иногда. Душа — словно вода: никогда не бывает спокойна — вечно меняется ..

VI

Прийшов ні за чим, пішов ні з чим,

Шкода й питать, тільки ноги болять.

Малор. народная поговорка

В полночь протяжный звон соборного колокола известил лубенцев о смерти их полковника; другие колокольни отвечали этому звону, и скоро весь город загремел колоколами; народ проснулся и толпами всю ночь до самого света приходил смотреть на усопшего полковника, который лежал среди комнаты на длинном дубовом столе, одетый в богатую парчевую одежду; кругом стола в тяжелых подсвечниках горели свечи; в головах икона и над нею сложенные крестообразно пернач и булава. Входя в комнату, казаки крестились, молясь о душе усопшего, а выходя на двор, громко проклинали крымцев, собирая охотников сделать вылазку на рассвете и дорого отплатить неверным за своего полковника; но вылазка не состоялась, к великой печали охотников.

Крымцы знали через своих лазутчиков, что в миргородский полк посланы гонцы за помощью, и, услыша в городе колокольный звон и тревогу, вообразили, что идет отдаленная помощь, и, вообще любя более нечаянные набеги и разбой, нежели правильную войну и сражение, ночью убрались потихоньку, оставя зажженные сторожевые огни: так все думали в Лубнах — а может быть, были и другие причины. На рассвете казаки с валу не заметили крымцев, послали

разъезды — разъезды никого не нашли, будто неверные провалились сквозь землю, будто их свеяло, унесло ветром.

Целую ночь не спал Касьян, думая о причине необыкновенного звона, и расспрашивал часового и соблазнял его пением; часовой, к великой досаде Касьяна, упорно молчал. Утром загремели замки, завизжали на ржавых петлях двери, и в тюрьму вошел Герцик.

— Поздравляю тебя, друг мой Касьян, поздравляю! — весело говорил Герцик, обнимая Касьяна.

— С чем? Не собрались ли повесить меня?.. — угрюмо спросил Касьян, отталкивая Герцика.

— Боже мой! Что за человек! Настоящий воин, настоящий запорожец! Характерный человек! Крымцы ушли; теперь ты свободен.

— Молодцы! Ай да гетманцы! Вы их прогнали?

— Да, мы их порядочно поколотили вчера, а они ночью и ушли; верно, испугались колоколов: думали, мы что недоброе против их замышляем.

— Вот оно что! Есть чем хвастать. Так вы звоном прогоняли татар, словно налетную саранчу? Бабы!

— Нет, Касьян, мы звонили по другой причине; разве ты не знаешь нашей печали?

— Откуда бы я знал?

— Ты не знаешь! О боже мой! Плачь, Касьян! Полковник умер! Крымцы его убили...

— Вот оно что?.. Царство ему небесное, а плакать мне не о чем.

— Как хочешь, Касьян; это твое дело; ты умный человек. Пойдем же на раду; вот твое оружие: я приберег его из любви к тебе; пойдем на раду, уже собралась она. Один бог знает, я так полюбил тебя, Касьян!

— Что мне делать на вашей раде?

— Там все старшины, да запорожец сам не простой человек: и между старшинами тебе дадут почет; там будут читать последнюю волю полковника: может, он что такое и о дочке написал, и о моем приятеле Алексее. Пойдем; тебе не худо знать: поедешь, им передашь радость.

— Это дело; пожалуй, пойдем.

Собралась рада. Сотник и старшины присягнули, что перед смертью полковник вручил им это самое завещание и просил исполнить последнюю свою волю; после этого священник распечатал и громко прочел завещание:

"Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Я, не имея родных, в случае моей смерти, завещаю в лубенскую соборную церковь сто червонных, да в пирятинскую замковскую пятьдесят, а остальное все мое имение движимое и недвижимое отдаю в вечность и бесповоротность приемышу моему Герцику за его полезные моей особе службы, с тем чтобы он кормил до смерти Гадюку и наливал для него

ежегодно бочку наливки из слив, купленных по вольным ценам в местечке Чернухах.

Року NN

Славного войска Запорожского полка лубенского полковник месяца и числа NN Иван NN..."

Священник сложил бумагу и поклонился Герцику; все старшины тоже стали ему кланяться и поздравлять с наследством; даже самые злые недоброжелатели Герцика приятно разглаживали усы и осклаблялись перед ним.

— А о коне ничего не сказано? — спросил сотник.

— И о ружье? . И о сапогах?.. — говорили старшины.

— Что сказано, то свято, — смирно отвечал Герцик, — я не отопрусь; сказал покойник — берите; хоть оно и мне принадлежит, а берите, я не хочу перечить.

— Честный человек этот Герцик! — говорили старшины между собою

— Нет! — сказал Герцик твердым голосом. — Не хочу я наследства. У полковника осталась дочь: она наследница; вот вам честный запорожец; он приехал с поклоном от нее; ей следует, а не мне...

— Нет, нет! — закричали сотник и старшины. — Имени ее нет в духовной, он ее изрекся: она ушла от него...

— Может быть, покойный не знал, жива ли она, — заметил Герцик.

— Вот дурень! — ворчал, обратясь к товарищам, сотник, которому, как видно, очень хотелось сивого коня.

— Говорил ты, добрый человек, покойному полковнику, что его дочь жива, и точно это правда? — спросил Касьяна священник.

— Говорил, сейчас как приехал говорил полковнику; а его дочка и теперь у меня живет на зимовнике...

— А это завещание писано вчера, — сказал священник, — значит, он с умыслом умолчал о дочери, хоть и знал, что жива она; значит, он устранил ее от последней своей воли, и ты, Герцик, не смеешь отказываться от исполнения воли умирающего, должен принять все его земные блага и стараться о приобретении таковых же на небе.

— Не смею вам перечить, — отвечал Герцик, смиренно кланяясь.

Старшины получили подарки, назначенные им по словесному приказанию полковника. Полковника похоронили при громе пушек, звуке труб и мелкого ружейного огня, и к вечеру вся знать пировала у нового своего товарища по богатству, у Герцика. За ужином сперва пили печальные кубки за упокой души покойного и пели вечную память, потом начали пить здоровье Герцика, потом сотника и старшин, закричали "ура", запели многие лета и перед светом разошлись очень довольные собою.

Когда разошлись гости, Герцик пришел в полковничью опочивальню — она теперь сделалась его комнатою, — весело прошел по ней несколько раз, потирая руки, странно улыбаясь, и сел на кровать, на которой в прошлую ночь лежал умиравший полковник. Герцик задумался и вдруг вздрогнул, быстро вскочил на ноги и; подняв ковер, тревожно посмотрел под кровать: там ничего не было. "Дурак!" — прошептал Герцик, сел и опять задумался Лицо его сделалось страшно, болезненная дрожь пробегала по нем, порою губы его судорожно искривлялись — бог ведает, от злой улыбки или тяжкой боли сердечного страдания.

Уже было утро, а Герцик все еще сидел на кровати, задумчивый, печальный, спустя голову на руки, упертые в колени, и только тогда поднял ее, когда скрипнула дверь и на пороге показался Касьян. Видно было по одежде, что запорожец собирается в дорогу.

— Ты, Касьян? — спросил Герцик.

— Уже не кто другой, — отвечал запорожец, — прощай; я сейчас еду.

— Куда?

— К себе на зимовник. Тут мне нечего делать.

— Погоди, Касьян; погуляй с нами.

— Спасибо. Не весело мне, да и тебе, как видно, не очень весело.

— Правда твоя, Касьян; сейчас видно умного человека: не весело мне, я лишился благодетеля, а тут еще покойник

обидел бедную свою дочку: видит бог, Касьян, как мне жаль ее и ее мужа! Ты сам слышал, как я отказывался.... что ж делать; рада присудила: нельзя, говорят, переменить завещания: воля покойника, говорят, свята.

— Не солгу, слышал.

— Ну, вот видишь, сам не знаю, чего б я не дал, чтоб переменить это.. Видит бог, Касьян, я добрый человек; мне Алексей Чайковский большой приятель, вот посмотри кинжал — это его подарок; скажи ему, что висит у меня, видишь, где? На почетном месте. А Марина всегда была такая ласковая, всегда меня отпрашивала, как, бывало, покойник — чтоб над ним земля пером лежала — захочет меня, бывало, потузить за что-нибудь...

— Спасибо и за доброе слово. Прощай.

— Нет, погоди, Касьян; скажи Марине, что я всегда буду ее помнить и все имение полковника буду считать ее имением; я буду просто ее арендарь; все ей доставлю, пусть ни в чем не нуждается, ест и пьет из серебра, ходит в бархате, слышишь?..

— Слышу

— А на первый раз возьми вот этот мешок дукатов. Кланяйся от меня, и ее мужу кланяйся, скажи, что я с ним скоро увижусь... Вот только управлюсь с делами, сейчас приеду к вам на зимовник. Погуляем вместе, забудем горе..

— Из хороших уст хорошее и слово, — отвечал Касьян, укладывая мешок в карман бесконечных своих шаровар.

— Теперь прощай, братику, прощай, Касьян; веришь ли, я и тебя люблю не меньше Алексея, что для него, то и для тебя готов сделать. А как же мне найти твой зимовник?

Касьян рассказал дорогу, поклонился и вышел. Скоро вздохнул он свободно на широкой родной степи. Ветер веял, трава шумела, добрый конь скакал; Касьян пел песню, подъезжая к своему зимовнику.

VII

"Он полети, галко,

Де мій рідний батько —

Нехай мене одвідає, коли мене жалко".

Летить галка, кряче,

А дівчина плаче:

"Нема в мене рідненького!

Тільки ти, козаче!"

Мало'российская народная песня

Гости пьют и едят,

Речи гуторят,

Про хлеба, про покос,

Про старинушку.

А Кольцов

— Что вам сказать, мои дети? — говорил Касьян Чайковскому и жене его, сидя за столом в своем зимовнике. — На гетманщине, как я заметил, так все перепуталось, перемешалось, словно волоса в войлоке: порядку нет; одно только мне чудно, хоть и верно, что Герцик смотрит великим мошенником: так и просится на веревку, а делает хорошо, ей-богу, хорошо; что ни говори, у него душа лучше рожи.

— Ты, батьку, чудно говоришь, говоришь обиняками; тут что-то есть.

— Ничего нет.

— А батюшка что, полковник? — спросила Марина.

— Ничего. Известно: умер, похоронили, и все тут; всем придется умирать... Вот ты уже и плачешь, доню! Нехорошо...

Но Марина его не слушала; громкие рыданья, перерываемые восклицаниями: я этому причиною, на мою голову падет смерть его и подобные в этом роде, задушали Марину.

— Вот говори бабам правду! — заметил Касьян. — Они из мухи коня сделают; и давай плакать... Татары его убили, а не ты; он не очень о тебе беспокоился...

Когда немного утихли рыданья Марины, Касьян рассказал всю историю своей поездки, которая нам уже известна, и заключил ее словами:

— Вот я и приехал к вам ни с чем, кроме этого мешка дукатов... Что ни говори, а Герцик добрый человек.

— Так он не проклял меня?

— Вот дурная баба! За что бы он проклял тебя? Да коли б и проклял, я не скрыл бы...

— Ну, я рада! Камень свалился с души моей от слов твоих, Касьян. Меня не проклял отец... Благодарю тебя, господи! Теперь я ничего не боюсь, я еще не одна на свете...— И Марина, обняв Чайковского, прильнула к груди его и тихо плакала.

— И давно бы так! Бог знает об чем плачет!..—прибавил Касьян. — Вы останетесь у меня жить; деньги у вас есть и еще будут; зовите меня батьком, а умру — ваш зимовник и все ваше: для вас станет; будут дети, сыновья — посылайте служить на Сечь; послужат, узнают политику и характерство — будут людьми. Вот и все тут. Полно, дети, плакать!

Спокойно зажил Чайковский на зимовнике; днем ходил на охоту, вечером слушал рассказы Касьяна о подвигах запорожцев в давно минувшие времена, и когда на какой-нибудь подвиг была сложена песня, — а это было сплошь и рядом, — то все пели эту песню и Касьян пояснял им некоторые аллегории, без чего вы найдете мало песен в Малороссии, что и подало повод многим умным людям, не понимавшим их, упрекать бедные создания народной поэзии в бессмыслице.

Недели две спустя, в одно утро, старый Касьян очень прилежно вырезывал из куска сухого липового дерева столовую ложку; Марина, сидя у окна, вышивала цветным шелком хустку (носовой платок) для мужа; Чайковский, собираясь на охоту, посадил на руку ученого ястреба и

привязывал к его лапе погремушку. Вдруг раздался конский топот; несколько казаков остановились у ворот зимовника и спрашивали хлопца, ходившего по двору: Это зимовник Касьяна?

Касьян вышел и скоро возвратился, ведя гостя, одетого в богатый наряд.

— Алексей, друг мой! — закричал гость, бросаясь обнимать Чайковского.

— Неужели ты, Герцик? — сказал Алексей. — Я всилу узнал тебя... паном стал..

— Ох, тяжело мне это панство! Не говори об нем, братику! Касьян свидетель, как это случилось... Сердце у меня так и рвалось к тебе... Как посмотрю на твой кинжал да вспомню наше прощанье — помнишь, на Сечи, — вот так сердце и рвется, так и шепчет: "Есть у тебя друг, ты забыл его..." Видит бог, правда!

— Постой, Герцик, я человек прямой; скажи мне, ты знал, когда был на Сечи, что полковничья дочка, теперешняя моя жена, ушла?

— Ах, бог мой, и пани Марина здесь! Я от радости не заметил! Да как вы похорошели, пани; позвольте поцеловать вас...

— Ай, Герцик! Ты сильно целуешь, — вскричала Марина, вырываясь от Герцика.

— От радости себя не помню... Да; ты спрашивал, Алексей, знал ли я? Разумеется, знал.

— Отчего ж ты мне не сказал?

— Э, братику! Не так легко сказать печаль, как радость. Ты был такой веселый, что мне было жаль тебя печалить; да и мы сами не знали, где дочка полковника — пропала, и только. А сбежала ли она, утонула или ее кто извел со света — никто не знал. Как же мне было сказать тебе!.. Посуди сам... Виноват, пожалел тебя; а видишь, все вышло к лучшему. Чему быть, тому не миновать.

— И то правда, — отвечал Алексей.

— Теперь, дядюшка Касьян, я попрошу твоей ласки, — сказал Герцик, — не оставить моих казаков; со мною их человек шесть; знаешь, взял для безопасности в ваших степях...

— Пустое! — отвечал Касьян — Как бог даст, и один человек проедет: вот я всегда один езжу, а не даст — и десяток не спасет... А твоим и коням, и хлопцам будет место; у меня своих хлопцев человек десятка три-четыре живет на зимовнике, так шестерых и не заметят.

— Ото! А я думал, один живешь...

— Один не долго бы прожил..

День прошел очень приятно. Герцик навез много гостинцев для Касьяна, Чайковского, а особливо для Марины; говорил, что никогда не забудет благодеяний отца ее, что мать Чайковского здорова и уже знает о женитьбе сына, и что даже он постарается привезти ее зимою на зимовник, и тому подобными речами расположил их всех в свою пользу; даже и Чайковский начал подумывать: "Да, в самом деле Касьян прав;

Герцик добрый малый". Одна только Марина инстинктивно ненавидела его и не хотела принять подарков.

Касьян угощал на славу, и за ужином, после порядочного чаркования, гость сделался совершенно своим. Начали рассуждать, как провести завтрашний день.

— Я предлагаю вам съездить на охоту, — сказал Касьян,— здесь очень много дичи, а я займусь сам с кухарем, да приготовлю вам такой стол, что и гетману не иметь подобного: Я сам, ей-богу, сам — не смотрите, что стар, — а вот так засучу рукава по локти, вот как видите, и пошел стряпать... Вы не шутите со мною!

— Прекрасно, дядюшка Касьян! — подхватил Герцик. — Мы поедем с Алексеем на охоту... у меня же есть чудесное ружье.

— И у меня тоже, — прибавил Алексей, — и дичь я знаю где водится.

— Стой! — закричал Касьян. — Видать, сейчас видать, что оба гетманцы. Хлопать пойдут по степи; одну штуку убьет, а десять разгонит... То ли дело с ястребами! У меня и ястреба есть.

— Что за охота с ястребом? То ли дело ружье! — сказал Герцик — Я и не умею охотиться с ястребом, а поеду с ружьем... Правда, Алексей? Поедем с ружьями.

— Эх вы, дурные головы!і Что ваше ружье? Выстрелом убил, конечно, да разогнал, распугал десяток. А как спустишь ястреба, как взовьется он, как бросится с налету на птицу — шумит воздух, крепкие перья, будто струны, звенят на

крыльях... да, звенят, прислушайся, коли есть уши; недаром сложена песня:

Конь бежит — земля дрожит,

Сокол летит — перо звенит.

Ей-богу, чудо как весело! Нет, с ястребами поезжайте на охоту; я сам бы поехал, да дела много дома; а вы молодой народ: погарцуйте — и пообедаете вкуснее.

Герцик еще противоречил Касьяну, но старик и слышать не хотел; и так решено завтра утром рано ехать на ястребиную охоту.

Было любо смотреть на Герцика и Чайковского, когда они утром выехали вдвоем на охоту. Марина еще спала; старый Касьян в нагольном тулупе проводил их за ворота, повторяя разные охотничьи наставления. Весело ехали они рядом рука об руку, как родные братья, смеялись, разговаривали, вспоминали прошедшее... Когда зимовник скрылся совершенно из виду, Герцик пустил своего ястреба на стрепета: ястреб сразу убил неповоротливого соперника, стрепет упал на песчаную поляну, поросшую мелким бурьяном; охотники подскакали к дичи, слезли с лошадей.

— Славная штука! — говорил Чайковский, подкидывая на одной руке стрепета.

— Это ли охота! — отвечал Герцик. — Стрепета ловить — просто брать мясо руками.

— Правда; вот если б журавль, натешились бы.

— Да, посмотри, не журавль ли это?

— Где?

— Вон высоко-высоко, будто черная точка в небе, прямо над твоей головой.

Чайковский поднял голову, пристально глядя в синее небо. Герцик, не сводя глаз с Алексея, быстро присел, опустил до земли руку, захватил горсть песку и — жалобно вскрикнул. Алексей испугался, когда посмотрел на него: страшно крича, бледный от страха, Герцик махал по воздуху правою рукою; около руки, как тонкая плетка, вилась темно-серая змея.

— Алексей, спаси меня. Злая гадина впилась мне в большой палец, — кричал Герцик, — и не оставляет меня, огнем жжет, проклятая.

Наконец, убили змею; Герцик был бледен, желт; холодный пот крупными каплями блестел на лбу его; укушенный палец раскраснелся, распух.

— Пропал я! — шептал Герцик. — Наказание божее... видимое наказание.

— Пустое! — говорил Чайковский. — Мало ли змеи кусают, да не все укушенные умирают: притом же эта змея была маленькая, тоненькая — дрянь.

— Это и страшно, что она маленькая да тоненькая; это и есть самая злая порода; не всякий знахарь отшепчет ее!.. Бог наказал меня!..

— Перестань, не гневи бога; ты сделал доброе дело: утешил нас, помог нам, за что тебя наказывать?

Герцик молча покачал головою.

— Я ума не приложу, как она тебя укусила?

— Бог наказал! Я хотел...

— Что хотел?

— Хотел... сорвать былинку, а она, скверная змея, верно, лежала под кустиком и схватила за палец. Ой! Господи, как болит! Мороз за кожею ходит. Поедем, брат, поскорее домой.

Печальные приехали на зимовник наши охотники. Чайковский вел в поводу лошадь Герцика, который едва сидел на седле: так его корчила страшная боль; рука раздулась, распухла, словно обрубок; на ней, будто ростки, торчали пальцы; от укушенного места, как лучи, шли во все стороны багровые линии.

Касьян распорол рукав кафтана и рубахи, потому что их снять уже было невозможно, посмотрел на руку и хладнокровно сказал:

— Ничего, пройдет. Меня на веку три раза кусали змеи, да все знахари отшептывали; только ничего не кладите на рану, пока приедет знахарь; я пошлю сейчас за ним хлопца, он недалеко.

VIII

У вівторок зілля варила,

А у середу Гриця отруїла.

Малорос, народная песня

Я не таков: нет, я, не споря,

От прав моих не откажусь,

Или хоть мщеньем наслажусь.

А. Пушкин

Хлопец не застал знахаря дома и рысцой поплелся назад.

День был к вечеру. Едет хлопец, а навстречу идет, бог ее знает откуда, цыганка, в синей исподнице, в красной изорванной юбке, старая, скверная, лицо — как ржавый котелок, волосы седые висят клочками из-под какой-то грязной тряпки, намотанной на голову; нос крючком к бороде, борода крючком к носу, а глаза так и светятся. Хлопец перекрестился и, боязливо сняв шапку, сказал:

— Здравствуй, тетушка!

— Здорово, небож, — отвечала она шепелявя, — куда бог несет?

— Домой.

— А откуда?

— Ездил за знахарем; дома не застал.

— А на что вам знахарь?

— Казака укусила гадюка (змея).

— Ох, боже мой! И давно укусила?

— Не знаю когда, должно быть, сегодня; вчера он был еще не кусаный и поутру сегодня поехал на охоту, кажись, не кусаный, а ополудни вернулся уже укушенный.

— Ну, благодари бога, что повстречал меня! Веди меня скорее; я помогу ему, я знаю заговаривать и кровь, и змею, и лихорадку, и всякие напасти; веди меня.

— Спасибо вам, тетушка, — отвечал, почесываясь в затылке, хлопец, которому очень не хотелось быть вместе со страшною цыганкою, — да меня не за вами послали; боюсь, как рассердятся.

— Дурень! Разве не все равно, кто ни вылечит казака? Еще спасибо скажет тебе хозяин; а умрет человек — на твоей душе грех будет.

"Правду говорит бесова баба, — подумал хлопец, — да страшно! Если она ведьма, зайдет сзади, вскочит на коня, а после и мне на плечи и станет ездить на мне куда захочет..."

— Что же ты молчишь?

— Пожалуй, тетушка; только, будьте ласковы, не идите со мною рядом, а ступайте вперед; я буду рассказывать дорогу, а то мой конь не любит бабьего духу.

Цыганка пошла вперед; хлопец поехал за нею шагом на благородном расстоянии.

Солнце зашло, и полная луна взошла на чистое небо, когда хлопец и цыганка прибыли на зимовник.

В темной комнате стонал Герцик; его рука распухла до плеча и будто покрылась лаком; но опухоль не шла далее. Видно, яд потерял свою силу. В соседней комнате сидели при свете каганца (плошка из толстой светильни и бараньего жира) Касьян и Чайковский с женою, рассуждая, куда пропал хлопец. Наконец,он явился.

— Где ты пропал, вражий сын? — закричал Касьян. — Человек умирает, а ты, верно, спал в степи? Где знахарь?

— Знахаря нет дома; сказали: поехал в паланку (род городка оседлых запорожцев) лечить какую-то паню: говорят, что-то съела, что ли, так в животе неблагополучно; а вернется послезавтра, сказали, приедет.

— На черта он мне послезавтра, дурень? Где же ты пропадал?

— Я нигде не пропадал, а все ехал ходою, проводил сюда какую-то знахарку, что ли, цыганку, что ли, я не разберу ее толком; стар человек, тихо ходит, а говорит: "Вылечу от гадюки". Вот мы и опоздали.

— Где же твоя знахарка?

— Тут, за дверью, только не испугайтесь. Пожалуйте сюда, тетушка!

Хлопец, толкнув ногою, отворил дверь и быстро отошел в сторону. Цыганка вошла.

— У вас есть недужий (больной), — говорила она, — змея укусила его; злые змеи в это лето, очень злые, трудно заговаривать их, а я знаю заговорку, заговорю змею хоть водяную, хоть степовую...

— Это степовая, — сказал Чайковский.

— А ты почему знаешь? Ты знахарь? Так заговори, коли знахарь

— Я не знахарь, бог не дал мне мудрости, а змея укусила на степи, так должна быть степовая.

— Не мешайся не в свое дело, ученого учить — портить.

— Правда, тетушка, — сказал Касьян, — идите скорее к больному, время не терпит.

Цыганка сбросила с головы тряпку, встряхнула головою, и длинные седые волосы совершенно закрыли лицо ее; потом подошла к Герцику, осветила ему руку, взглянула на лицо и остановилась.

— Что, бабушка, можно отшептать? — спросил Герцик жалобным голосом.

— Можно, лишь бы угодно было богу. Я, кажется, где-то видела тебя? Не ворожила я тебе когда-нибудь?

— Нет, бабушка, никогда не ворожила, в первый раз тебя вижу.

— Ну хорошо, идите себе, вынесите и светло.

Все вышли в другую комнату, скоро послышалась заговорка цыганки.

"Помолюся господу богу и всем святым его! Десь-не-десь на Лукоморье стоит яблоня сухая, на тую яблоню муха налетае, лист обвивае, черва нападае, корень источае, яблоню сгубляе... И на человека раба божьего есть напасть злая, болести, и хворобы, и всякие наробы, и гады заклятые; ты у меня, подтинница, веретинница, не крутись, не вертись, я тебя знаю, от сестер различаю, есть веретинница луговая, лесовая, гноевая, земляная и веретинница водяная. Я тебя словом сильным изгоняю, заклинаю, убирайся к сестрам-посестричкам, малым невеличким, где топор не стучит, где люди не ходят, где коровы не бродят, куда петушиный голос не залетает; не палить, не сушить тебе белого лица, желтые кости, гарячия крови раба божия!.. Тьху! Сгинь!.. Сгинь, говорю!"

Три раза прочитала цыганка заговорку и вышла в другую комнату, где на нее с благоговением смотрели Касьян и Чайковский с женою.

— А что? — спросил Чайковский

— Трудная змея, не простая змея! Да и запустили рану; много времени прошло.. Посмотрим, что будет.

Через несколько времени пошли к больному. Рука была все в одном состоянии.

— Каково тебе? — спросил Касьян.

— Немного стало будто легче.

— Худая примета! — сказала цыганка. — После этой заговорки должно быть немного труднее: яд испугается и начнет метаться, а то он спокоен, злая змея укусила тебя!.. Опасно, очень опасно, заговор не берет, надо лечить, вот приложим на рану этот корень: он последнее средство.

Цыганка достала из кармана своей юбки корешок темного цвета, разрезала его, помочила водою, приложила на рану и крепко обвязала кругом тряпкою.

— Это поможет? — спросил Чайковский.

— Поможет. Какая бы ни была змея, от всякой поможет, разве укусит змеиха, у которой убили детей, от этой ничто не поможет, ничто не спасет, — говорила цыганка, странно улыбаясь.

Не успела цыганка докончить своих речей, как Герцик страшно застонал, заметался на постели.

— А что? — спросила цыганка

— Жжет, словно огнем; жилы тянет...

— Ага! Испугался яд. Терпи казак, атаман будешь.

Но Герцику невмочь было терпеть— он метался, кричал, ревел нечеловеческим голосом и сорвал перевязку. С ужасом все увидели страшную перемену: рука посинела, опухоль быстро подвигалась к шее, укушенный палец почернел.

— Жаль мне тебя, добрый казак! — говорила цыганка, смотря прямо в глаза Герцика — Ты умрешь, непременно умрешь, никакие силы не спасут тебя, и умрешь скоро; опухоль охватит горло и задушит. Пошли за попом, приготовься к смерти, тебя укусила змеиха, у которой отняли детей, яд ее неизлечим... неизлечим ее яд... Слышишь?.. Не увидишь ты более солнца, в эту ночь закроются навеки глаза твои.

И, страшно улыбаясь, глядела она в очи Герцику, будто с наслаждением читая в них всю глубину мучений безнадежного отчаяния.

— Отойди от меня, — простонал Герцик. Цыганка тихо вышла из комнаты, из другой и скрылась.

"Чужая беда — людям смех", — говорит народная поговорка и, к несчастью, она, как и все поговорки, очень справедлива. В природе человека есть много зла, все четвероногое и четверорукое, говоря в смысле животном, отдавая преимущество своему двурукому собрату в уме и способностях, должны уступить ему и в жестокости. Стоит сравнить дикого, который с радостным смехом и неистовыми прыжками режет на части живого человека и с наслаждением ест его еще трепещущее тело, стоит сравнить с христианином, который любит и врагов своих, чтоб убедиться в святости и божественности религии и великой силе воли человека духовного, так победившего, уничтожившего животного человека.. Но есть люди, даже в образованном обществе, люди-ненавистники, странные натуры, которым несчастье ближнего доставляет душевное наслажденье; они без всякой видимой

причины готовы делать зло, где только можно, готовы повредить вам не из желания поважничать, не из корыстолюбия, не из личных отношений — нет, а просто безотчетно, для собственного своего удовольствия готовы замарать ваше доброе имя, уничтожить вашу службу, испортить всю вашу будущность, чтоб после в тишине кабинета сказать самому себе самодовольно: "А! Он страдает! Он терпит. Это мое дело!" Но если человеком овладеет страсть, особливо мщение, тогда тигры и гремучие змеи перед ним — кроткие барашки; он способен удивить самое воображение.

Старая цыганка вышла из хаты и, пойдя к окну, села на корточках на завалине, смотря с наслажденьем в окно на муки умиравшего Герцика. По временам улыбалась она, тихо смеялась, закрывая рукою рот, и шептала: "Это яд змеихи, у которой отняли детей. А что? Любо? Тянет жилы твои? Ломит кости? Палит, сушит казацкую поганую кровь?.. Не помню, где я его видела, как он ушел от моих рук; еще ни один не уходил... ни один..."

— Ох! Тяжело! — стонал Герцик. — Жарко, душно! Дайте воды... умру я. Неужели нет никакого спасения?.. — И он страшно озирался, медленно поводя уродливою больною рукою, а здоровою рвал на себе волосы...

Касьян и Чайковский печально стояли у постели больного. Марина подала ему ковш холодной воды. Слезы струились по лицу Марины и падали в ковш.

— И ты плачешь обо мне, Марина?.. О, боже мой!.. Недаром я умираю... Дай воду. У! Как свежа она!.. Легче, право, легче... Марина! Для меня принесла воду, Марина?

— Для тебя, Герцик.

— Для меня! Как бы хотелось мне заплакать!.. Да слезы высохли, искры сыплются из глаз вместо слез. Что, Касьян, умру я? Скажи правду?

— Пошлю я за священником, Герцик: опухоль у самого горла; знахарка правду сказала.

— Чертова колдунья! Она извела меня со света. Как приложила корешок, будто огня в меня налила. Ох!.. Дайте мне ее, я задушу ее одною рукой!

— Полно, Герцик, гневить бога нехорошими речами! — сказал Чайковский — Бог все знает, все видит, сам накажет грешника! Лучше подумай о покаянии... Время дорого; ты не баба, приготовься..

— А я пошлю за попом, — прибавил Касьян.

— Нет, — закричал Герцик, — я не могу видеть попа. Правду сказал ты: бог накажет грешника . накажет!.. Я вам исповедаю грехи свои: перестанет Марина плакать обо мне, вы отступите от меня... Я грешник, страшный грешник... Позовите сюда моих казаков, позовите своих людей, пускай все слушают. Ох! Воды, воды!..

Полная светлица набралась народа. Все окружили Герцикову постель и молча стали. Герцик посмотрел кругом, закрыл глаза левою рукою, как бы собираясь с мыслями, спросил воды и начал исповедь:

— Не гляди на меня, Марина, такими кроткими глазами; я не стою этого; я причина всех ваших бед, я привел полковника на остров, потому что я любил тебя; мне было завидно, что ты любишь другого.. Много бессонных ночей провел я, думая о

тебе, проклиная свое рождение. Ты знаешь, кто я был, а ты была дочь моего полковника; я был раб твоего отца и твой; мне было любо унижаться перед тобою, и ни одного взгляда, ни одного привета от тебя не было мне.. Я проклинал твой образ, когда он являлся мне во сне, и любил тебя еще более. Мог ли я терпеть любовь твою к Алексею?.. А у меня глаз очень зорок: я все видел и поклялся извести Алексея, сделаться богатым и во что бы то ни стало быть твоим мужем. Мне стало жить веселее, у меня была цель, для чего жил я... Жарко .. Воды!

Марина подала ему воды.

— Добрая душа! Как бы мне хотелось теперь заплакать!.. Вышло не так, как я думал. Алексей ушел, ты ушла, никто и следа вашего не знал... Я овладел доверенностью полковника, я стал другом ему в его одиночестве. Между тем пошли в народе толки о татарах, будто хотят напасть на нас; я вызвался ехать на Сечь и там, узнав тебя, предал вас в руки запорожцев. Не мне, так и не ему! — думал я, выезжая из Сечи, и поехал не в Лубны, а в Крым, где сговорился отдать Лубны крымцам, а, возвратясь, донес полковнику, что все благополучно и что вас казнили на Сечи. Полковник не велел никому этого рассказывать; я и замолчал, поджидая гостей. Один жид, которого, хотел и поляки повесить за подделку монеты, ушел в Лубны и ходил в казачьем платье, называя себя казаком, а он был Гершко, медник из Львова; я познакомился з Гершкою и посылал его шпионом куда было нужно. В один день, рано утром, Гершко сказал мне, что в овраге будут крымцы. Я поехал будто на охоту, и виделся с ними, и продал им полковника; но, приехавши, узнаю, что у полковника запорожец, и полковник знает уже о крымцах, и что дочка полковника жива. С первых слов я хотел извести тебя, Касьян; но когда узнал, что у тебя живет Марина, я повел дело иначе — ты знаешь как Полковника, по условию, я выставил крымцам: по перышку на шапке они узнали меня и его; но Гадюка

освободил его полумертвого; пирятинцы не пустили татар ворваться в город... Я опять повел дело иначе. Под кровать умирающего полковника посадил Гершка, и когда умер полковник, Гершко разговаривал с старшинами вместо полковника и приказал старшинам выполнить завещание, которое я сам написал под руку полковника. Гершко ушел в отпертое окно; я не знаю, где он, — найдите его, он вам лучше расскажет. И вот я стал богат, очень богат; но ты, Марина, была жива, тебя обнимал другой, а не я, обнимал злейший мой враг, оттого что ты любила его. Это мне не давало спать спокойно. Я и поехал сюда в зимовник и взял с собою лучших казаков... Винюсь перед вами, хлопцы, хотел употребить вас на нечистое дело и силою взять Марину... Но много людей у тебя, Касьян, на зимовнике, каждую ночь ходят вооруженные сторожа, и я переменил дело: хотел на охоте застрелить Алексея, сказать, что он сам застрелился — и тут не удалось; ты, Касьян, выпроводил нас с ястребами, только и было у нас по кинжалу за поясом. Хотелось мне, очень хотелось отправить тебя, Алексей, на тот свет твоим же кинжалом, да не мое дело владеть холодным оружием, особливо против людей сильнее меня, здоровее меня... Вот я показал тебе журавля в небе, хоть его совсем там и не было, думаю, ты подымешь глаза, а я засыплю тебе песком глаза, и пока ты будешь слеп, заколю тебя: в один раз не удастся, десять раз ударю кинжалом, и ты не будешь видеть меня, не будешь знать, с которой стороны падет удар.. Ты поднял глаза, я захватил горсть песку, да вместе схватил и смерть свою. Бог послал страшную змею: от его руки умираю теперь.. Ох, воды! Боже мой! И вы даете мне воду, и вы помагаєте страшному грешнику?.. А как полковник любил тебя, Марина! Как мне говорил много о тебе перед смертью: я все затаил, грешный человек!.. Простите меня!

— Бог наказал, бог и простит тебя, — сказал Алексей, — а мы простили...

— И ты, Марина, не сердишься на меня?.. Ох, душит!.. И ты простила?

— Бог тебя простит, Герцик...

— О, боже мой!. Чайковский! Алексей! Я умру скоро, не откажи в просьбе, позволь Марине проститься со мною?.. Марина, простись со мною!.. Пускай твой поцелуй, будто крыло ангела, осенит меня перед смертью.

Марина подошла к нему, подумала и тихо наклонилась к лицу Герцика. В тишине только зашумели, опускаясь, металлические кресты и дукаты, висевшие на шее Марины.

— Отойди!.. — страшно закричал Герцик. — Отойди! Я укушу тебя... Зачем ты так хороша?.. Боже мой... Да... Это что?.. Ох, душит! Точно... это она, святая монета... — тихо говорил Герцик, будто припоминая сон, — да зачем ты. носишь нашу монету?

— Какую вашу?

— Иерусалимскую монету! Вот она у тебя висит на шее рядом с крестом; она мне сверкнула в глаза страшным воспоминанием, такую монету моя мать надела на шею маленькой сестре моей давно-давно. Эта монета от святого человека, эта монета из храма Соломона... Надела на шею, а казаки взяли сестру мою... Что вы так смотрите? Что глядите? Я еврей...

С ужасом все отступили от Герцика.

— Боитесь меня? Теперь нечего бояться! Я как теперь помню сестру, черные очи, на правой щеке красная родимочка... Хороша была сестра моя... Куда вы?..

— Иосель, Иосель, сын мой! — кричала старая цыганка, вбегая в светлицу и бросаясь на грудь Герцика. — Будь проклят час, когда ты надел казачье платье! Я не узнала тебя... Горе мне! Не узнала родного детища, сама убила тебя, положила яд на рану, не змеиный яд, свой яд; много им отправила я на тот свет врагов наших, злых казаков, я мстила за вас, мои дети; мне было любо, когда умирал казак; я думала: вот новый выкуп за детей моих!. И сама тебя отравила! Горе мне! Ты умрешь, Иосель — силен яд! Горе мне! Горе!

И старуха упала на пол, ломая руки, судорожно теребя костистыми пальцами седые пряди волос своих.

— Что вы смотрите? Смейтесь, враги мои! Не я убила сына, вы убили его Слушайте, как хрипит он! А где дочь моя, где моя Текля?. Вы убили ее, вы взяли нашу монету... Вот она, вот она! — кричала цыганка, схватив медный дукат, подаренный Татьяною, который висел на шее Марины. — Вот благословение хосета. Еще видны на нем следы зубов моих; я заломила край дуката своими зубами, прощаясь с дочерью. Нет уже зубов тех! Растеряла я их по вашим степям: но я полила их вашею кровью, и вырастут из них на вашу голову страшные змии. Где дочь моя?

— Она умерла, — отвечал Чайковский.

— Умерла! Бог мой! Слышишь, Иосель, сын мой? Она умерла, умерла, сестра твоя! Слышишь? Но Герцик лежал уже мертвый.

— Что же не отвечаешь, сын мой? Не гляди так страшно на меня! Я убийца твоя, но я не желала тебе зла. Посмотри! — И, быстро разорвав на груди рубаху, достала цыганка старый кошелек и высыпала на мертвого горсть мелких монет. — На, вот они, я для вас собирала, питалась по целым дням травами, жила, как собака, ночевала под заборами и собирала деньги, чтоб отдать вам, мои дети. Я мстила за вас и жила для вас! Да скажи ж хоть одно слово! Не гляди на меня так страшно, Иосель! — И старуха сильно дергала за руку труп; труп бессмысленно кивал головою.

— Он умер, — сказал Касьян.

— Умер! — тихо проговорила цыганка. — Умер? И она умерла, и он умер?.. Умер, ха-ха-ха! Еще один умер! Двухсотый умер! Хорошо, Рохля, хорошо!.. У, гу, гу, гу!.. — запела старуха, подняв кверху руки, и, ходя по комнате, поводила на всех безумными глазами.

Казаки со страхом жались по углам.

— Убирайся, нечистая сила, откуда пришла! — сказал Касьян, широко растворяя двери. — Не нам тебя судить; божий суд над тобою.

"У, гу, гу, гу!" — пела старуха, и хохотала безумно, и, попрыгивая, тихо пошла по степи, озаренной луною. Страшно краснела при луне яркая одежда колдуньи и сверкали седые волосы, разметанные по плечам Но вот уже ее стало не видно; только изредка долетало протяжное гу, гу! — и печально завывали на зимовнике собаки, отвечая на эти отголоски.

IX

"Добре, добре! Ну, до танців,

До танців, кобзарю!"

Т. Шевченко

— Грому, грому, хлопцы! — кричал запорожец, неистово выплясывая посреди светлицы отчаянного казачка.

Музыка гремела, стонала; казалось, трубы готовы были разлететься от ярых звуков, литавры и барабаны полопаться от усиленных ударов; других инструментов не было слышно. А запорожец кричал: "Грому, грому!.. Грому, собачьи дети!" Никита разгулялся и кружился быстрым вихрем по комнате, то вскинув кверху руки, вырастал красным столбом под потолок, то со свистом и щелком расстилался по земле, словно пламя, гонимое сверху ветром.

Кругом плясуна толпились хорошенькие личики девушек, и синие жупаны гетманцев, и зеленые черкески запорожского товариства.

— Давно так бы танцевали, если б слушали Гадюку! — сказал Гадюка Касьяну, стоявшему подле него. — И он сам танцевал бы.

— Кто? — спросил Касьян.

— Известно, покойный полковник! Душа у меня не лежала к Герцику; я узнал кое-что от прохожего кобзаря из Польши и стал было обиняком рассказывать полковнику, да ты приехал и помешал.

— Вот что! Что ж ты ему прямо не сказал?

— Не такой был покойник; у него коли было хочешь, чтоб спал, так говори "Не спи", — он нарочно и ляжет, чтоб показать характерство. Такой была упрямая душа! Я уже стал было ему говорить околицею, да не удалось досказать. Так и умер, не дослушавши... Жаль!.. Тряхнем, Касьян, стариною?

— Тряхнем!

И оба, выскочив из толпы к Никите, начали выписывать ногами невообразимые вензеля.

Третий день уже длился пир в Пирятине — такой пир, какого и старики не помнили и потомки впоследствии никогда не видели, а нам тем более не увидеть. Третий день уже пировали у пирятинского сотника Чайковского неслыханные гости запорожцы с своим кошевым Зборовским. Шуму, крику, потехам конца не было То на раскрашенных лошадях ездили по городу разные машкары (маски), кто жидом, кто цыганом, кто немцем; некоторые, даже не боясь греха, наряжались чертам, совершенным чертом, настоящим чертом, и с хвостом, и с рогами; то, выходя на базар, запорожцы садились в чаны с дегтем (смолою) и представляли, как души грешников кипят в аду, а после, выскочив все мокрые, бросались в пыль, в песок и валялись по земле, потешая народ.

— Да откуда набралось у вас этого народа? — спрашивал захожий прилучанин своего приятеля-пирятинца.

— Разве ты не знаешь, что сын нашего покойного протопопа жил на Сечи, женился на дочери лубенского полковника и стал богат? Тут целая история. На той неделе казнили жида Гершка: он им много делал зла, я расскажу тебе после. А как нашего сотника выбрали в Лубны полковником на место покойного Ивана, вот мы и сделали Чайковского своим

сотником А тут подъехали гости, старые приятели Чайковского из Сечи, и заварили кашу. Веришь, братку, третий день жонки обедать не варят: все смотрят на чудеса; хорошо, что хоть у сотника на дворе всего вдоволь, ешь, пей и танцуй, коли вздумаешь Не хочешь ли перекусить? Пойдем.

— Кто отказывается от хлеба-соли.

— Славный завтрак! — говорил прилучанин своему приятелю, убирая за обе щеки жареную баранину.

— Наш сотник богат, и еще недавно купил себе землю в Домантове над Днепром, знаешь — то самое место, где он пристал к запорожцам

— Купил?

— Купил. Эх, жаль, что теперь не лето! Оно хоть и не холодно, вторые Параски (14 октября), да все уже осень; паны сидят в комнатах: знаешь, нежные — а то бы ты увидел столько панства, что если б каждый снился в ночь по разу, то руки устали бы от крестов.. Здесь и лубенский полковник, и сотники, и есаулы, и хорунжие, и всякое панство..

Тут распахнулись двери из панского дома; выскочил Никита, а за ним толпа запорожцев и музыкантов, и все с пеньем, с пляскою пустились к погребу Чайковского. В минуту были выкочены несколько десятков бочек и бочонков с наливками и медами и внесены в дом.

— Комедию замышляют запорожцы, — говорили одни.

— Посмотрим, что из этого выйдет, — говорили другие между народом, стоявшим толпою на широком дворе.

Запорожцы внесли бочки в комнаты, затворили двери; немного погодя послышался стук молотков, потом со звоном вылетели окна и вслед за ними посыпались в народ обручи, донники и клепки разбитых бочек, а вслед за клепками явилось в окне лицо Никиты и громко сказало народу:

— Люди добрые, хотите знать, от чего говорится "Пьяному море по колено"?

— Хотим! — отвечал народ. — Как не хотеть!

— Так посмотрите сюда, в окно.

Кто не глянет в окно — только всплеснет руками Запорожцы заколотили двери в светлице, выпустили из бочек настойку и ходят по колени в дорогих напитках и, наклонясь, пьют их, как лошади воду.

"Но всякому веселью бывает конец", — сказал, должно полагать, какой-нибудь большой философ: так и пирам Чайковского пришел конец. Поживя неделю, кошевой собрался ехать.

Было чистое, свежее осеннее утро, когда запорожцы, выпив по чарке на дорогу и по другой на конях, выехали за город. Алексей с женою и старшинами провожал их.

С полверсты от города, в степи, стоял курган; на кургане горел большой огонь и толпились люди.

— Кошевой батьку! — сказал Чайковский с комическою важностию, подъезжая к Зборовскому. — На кургане видны люди, кучею стоят, должно быть, татары или турки; позволь языка достать.

— С богом, братику! — отвечал кошевой

— Зимовник, батьку, — отвечал Чайковский, возвращаясь от кургана, — зимовник старого Касьяна, должно быть, тут и Сечь недалеко. Просит хозяин до хаты.

— Добре, ваши головы, — кричал кошевой, подъезжая к кургану.

— Ваши головы, ваши головы! — отвечал Касьян и казаки, принимая гостей.

Здесь устроена была на скорую руку походная кухня. Сели завтракать, начали пить здоровье и кошевого, и Чайковского, и старшин, и даже всех казаков поочередно; опять явилась музыка, пошли танцы — только перед вечером выехали в поход запорожцы. Ярко горели их шитые красные жупаны, сливаясь с горизонтом в лучах заходящего солнца Чайковский с женою грустно следил за ними... И вот уже красною полоскою мелькали они на далекой степи; вдруг что-то отделилось от них, росло, росло, близилось — и у кургана явился Никита.

— Что тебе надо, Никита? Здравствуй, Никита! — сказал Чайковский.

— Я думала, что и до смерти не увижу тебя, Никита! — радостно закричала жена Чайковского.

— Дело есть.

— Какое дело?

— Пойдите сюда, важное дело, тайное дело. Кроме вас, никому сказать нельзя.

— Ну, что? — спросил Чайковский, отойдя с женою в сторону от кургана шагов на сто.

— Ничего Я обманул кошевого, сказал, что забыл тут свою люльку (трубку), да и вернулся.

— Зачем?

— Вот видите.. Хорошо, что вы отошли от кургана, нас никто не услышит — там Касьян, старый характерник, там прочие казаки... еще смеяться стали бы надо мною.. Видите... Жалко мне кидать вас, добрые люди, ей-богу, жалко. Как выехали в степь, будто камень проглотил я, тяжело стало, в глазах туман разостлался; еще уезжая от вас, видел на носу черта, а то и черта не видно стало, — а тут подо мною конь споткнулся— худая примета, скоро умереть доведется, подумал я, обманул кошевого и вернулся. Теперь прощайте! Прощайте, братцы! Обнимите меня... Видите, я плачу, некому обнимать меня, ей-богу, некому! Прощайте! Вот так! Спасибо!

Никита махнул рукою, склонился на седло и ускакал из виду.

Эпилог

В 182* году далеко за Кавказом, у персидской границы, летнее полуденное солнце жарко накаляло песчаную равнину. На равнине стоял белый городок из солдатских палаток, там кочевал ...ий пехотный полк. Ни тучи на небе, ни ветра на равнине, а солнце так и обдает жаром желтые окрестности В лагере тишина, странная тишина, кое-где ходит, как маятник, часовой, без этого можно бы подумать, что вымер народ в лагере и нет живой души В стороне стояла одинокая палатка — не начальничья палатка, не почетная палатка простая,

обыкновенная, у входа ее сидел молодой человек, в пестрых шароварах, в солдатской фуражке и тихо плакал, склоняясь головою почти до колен.

— Васька! А Васька! — послышался слабый голос из палатки

— Сейчас, барин, — отвечал, вскочив на ноги, молодой человек и торопливо утер слезы.

— Васька! Я, должно быть, выздоровею, право, выздоровею, — говорил вошедшему человеку молодой офицер.

— Выздоровеете, барин; я это давно говорил.

— Нет, Васька, чума не такая болезнь, никто еще от нее не выздоровел... А мне представилось сейчас, что я дома, в Пирятине, на небо нашли тучи, идет дождик такой прохладный! Вода с кровельного желоба льется на камень Помнишь камень, что лежит перед крыльцом?

— Помню, барин.

— Льется вода, свежая вода, а брызги так и летят кругом, и шепчет кто-то мне: "Напейся этой воды: ты выздоровеешь: чума боится этой воды". Дай мне хоть каплю, Васька!

Васька принес воды.

— Скверная, теплая вода! — сказал офицер — Дай мне той воды... Верно, мне придется умереть. Смотри, Васька, после моей смерти, когда придешь в Пирятин, напейся воды из желоба... Пойди принеси мне свежей воды.

Васька принес другой воды, но уже не застал своего барина: умер последний потомок Алексея Чайковского.

В газетах было напечатано "Исключается из списков умерший прапорщик ...го пехотного полка, Созонт Чайковский"

Еще в детстве я посещал пирятинскую замковую церковь, и теперь очень хорошо помню ее странную, древнюю живопись Под иконами везде были нарисованы воинские клейноды: булавы, бунчуки, перначи, стрелы и копья; дубовые стены были изрезаны разными надписями; каждая икона имела свою примечательную историю. Тогда был еще цел дом Чайковских, странной архитектуры, с высокою крышею, с узкими окнами; перед крыльцом лежал большой жерновой камень. Верно, давно лежал он там: вода, падавшая с крыши, вымыла на нем глубокие ямы. За домом рос большой тенистый сад (теперь на этом месте, кажется, широкая пустая улица); перед домом, словно луг, расстилался зеленый двор с резными дубовыми воротами, выходящими на улицу.

В последнюю турецкую кампанию этот запустелый дом и двор снова было оживились: в доме громко говорили, еще громче смеялись. Казаки в синих кафтанах, в шапках с красными верхами ходили по двору, у коновязи бессменно стояло несколько десятков лошадей: здесь была квартира комиссара (капитана исправника).

В мае 1841 года я подъезжал к Пирятину. Мой ямщик был удивительный человек: дай ему побольше денег и пусти в Петербург — он бы сделался величайшим онагром. С бритой бородой, с длинными запорожскими усами, он был острижен вплотную, по-солдатски; в левом ухе у него висела огромная медная серьга, признак франтовства многих удалых ефрейторов: при широчайших казацких шароварах он был одет в русский армяк, носил московскую красную рубаху с косым

воротником и на голове имел безобразнейшую в мире круглую шляпу с высокою, узкою тульею, перевязанною пополам покромкою от голубого ситца; на покромке можно было прочитать слова Ивана Лаптева вмоскве за покромкой натыкано множество павлиньих перьев, словом, шляпа, какую носят в Малороссии русские купцы, торгующие скотом. Добрые кони, не во гнев русским ямщикам, быстро мчались, но ямщик беспрестанно поводил над ними кнутом, приговаривая: "Ой вы, соколики! Матери вашей лыхо! Эй, дети! С горки на горку! (выговаривая s'horky na horkou) даст барин на водку!" Потом запел песню.

Ой на горе на зеленой дорожка лежала,

Туда наша сударыня некрут (рекрут) выряжала.

Влево от дороги, за Удаем, ходили тучи и по временам гремел гром. Вдруг, будто выстрел, раздался удар в стороне к Пирятину и поднялся столбом густой дым.

Ямщик привстал на козлах, перекрестясь, сказал: "Ей же богу, замковская церковь горит!" И ударил по лошадям. Мы были верстах в шести от города, скакали шибко; но когда приехали, застали одни только развалины церкви. "Гром разбил нашу церковь!" — печально говорил народ. Несколько старушек неутешно плакали над дымящимися развалинами церкви, в которой крестились и венчались их предки, сами они крещены, венчаны и молились до глубокой старости. Между тем тучи разошлись, легкий дождик спрыснул город, прибил пыль, оживил сады, и солнце весело глядело на землю.

Переменив лошадей, я поехал далее не почтовым трактом. Под горою, при самом выезде, влево, зеленел огромный пустырь; на нем порос высокий бурьян и крапива и желтели

кучи развалин — едва я узнал в этом пустыре бывший дом и двор Чайковского! Слепой кобзарь, сидя на дороге у самого пустыря, пел заунывным голосом:

На Чорному морі, на білому камні,

Ясненький сокіл жалібно квилить, проквиляє:

Смутно себе має, на Чорнеє море поглядає,

Що на Чорному морі недобре ся починає.

Кобзарь не подозревал, как была кстати, к месту, его древняя легенда, но пел ее с чувством; голос его дрожал, струны дрожали, замирали в диссонансах, которые мало-помалу переходили в стройный аккорд, жалобный, вопиющий, страдальческий А люди шли мимо, не обращая внимания ни на старика, ни на его песню.

1843